

АЛЕКСАНДР СТАРОВЕРОВ

РОДИНАРОД

КНИГА О ЛЮБВИ



Любая любовь —
это презрение
к смерти
и времени.

Любая любовь — это плевок
в равнодушный
рациональный
мир.

Самый большой кайф любви —
в выходе за границы своего «я».
Человек равным богу
становится. Только для этого
от себя отречься
надо.

Любая любовь —
это подвиг и победа.
Над плотью, логикой
и жизненным опытом.

Людам
надежда
нужна.
Унизь,
избей,
отними все,
но оставь
надежду.

Содержит
нецензурную
брань.
18+

Александр Викторович Староверов

РодиНАрод. Книга о любви

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9002891

Староверов, Александр Викторович. РодиНАрод. Книга о любви:

Эксмо; Москва; 2015

ISBN 978-5-699-78937-5

Аннотация

Родина – мать или мачеха? Дети – благословение или проклятие? Есть ли оправдание предательству? – вопросы, которые мы отвыкли себе задавать.

Жизнь женщины, родившейся в 1940 году. В тюрьме. От репрессированной матери и следователя по ее делу. Детдомовская сирота. Советская Мата Хари. Ее крестный путь – от Сталина до Путина, сквозь любовь и позор, через боль, стыд и сумасшествие. К свету.

Если душа еще не окончательно очерствела от окружающего безумия, читайте новую книгу Александра Староверова о прошлом и настоящем, о любви, позоре и надежде. О всех нас.

Содержание

Часть 1	5
1	5
2	17
3	30
4	51
5	66
6	68
7	91
8	133
Конец ознакомительного фрагмента.	161

Александр Староверов

РодиНАрод. Книга о любви

© Староверов А., текст, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Часть 1

1

– Старость не радость. Не день солнечный. Не ветер соленый и теплый с океана. Не ручьи весенние. Не шепот ласковый в ушко. Не мяса кусок горячий, кровью сочащийся. Не касание в темноте нежное. Не сокращение щенячье мышцы юной. Не капля молока на сосце кормящей молодой матери. Не локон, мерцающий в лунном отблеске. Не вздох глубокий, когда грудь распирает от кислорода и любви. Не чашка кофе утром ароматная. Не рукопожатие дружеское крепкое. Не ночь пьяная, угарная, с теплым потом на рассвете в липких волосах. И не сам рассвет, рождающий все заново. Не голод волчий. Не холод собачий, когда тяпнешь дома у батареи водочки, и хорошо. И не сама водочка, горькая, но разгоняющая кровь до скоростей немыслимых. И не скорость. Не рой мошкары в лицо навстречу. Не встреча случайная. Не тайное знание глубокое. Не волоокая красавица. Не крапивница от загара на коже. Не ложе удобное с шелковым бельем. Не дрожащая девственница. Не одаренная рублем шалава. Не лава, бурлящая в жерле. Не Клава. Не Дуся. И не пироги в горячей печи. Не кирпичи на голову. Не куличи на Пасху. Не котик с впалыми глазками, любящий ласку. Не сказка на

ночь. Не дочь прилежная. Не безбрежная бережная пустота. Не красота. Не...

– Да заткнись ты, нудная, безумная старуха!

– Не надо на меня кричать, я боюсь. Старость – не плюс. Не минус. Не ус, на который мотают. Не снежинки, которые тают. Не неженки со сливками. Не...

– Заткнись, кому я сказала!

– Не стрела, что попала в болото с крапивками, пиявками, лягушками. Не зайчик с ушками пушистыми. Не мальчик, играющий...

– Заткнись!

– ...С фашистами в чехарду. Не...

– Молчи!

– Не... не... бе... ме... до...ре...

– Молчи, сука!

– ...

– ...Слава богу, заткнулась наконец. Нет, кому-то этот бред может показаться обаятельным и поэтичным даже. Велимир Хлебников, русский авангард, салонные стишата. Но меня он достал уже. А вы попробуйте слушать эту белиберду на протяжении тридцати лет. Нет, попробуйте! Тогда говорите. Сука она, эта ваша Пульхерия. Натуральная, вредная сука. Ой, я, кажется, забыла представиться. Меня тоже зовут Пульхерия, Пульхерия Сидоровна Антонюк. Ненавижу это имя, и фамилию, и отчество. Поэтому для вас я просто Пуля. Называли меня так когда-то давно. Когда сиськи еще не

обвисли и попа упругая торчала задорно. Я и вправду пулей была. Резкая, быстрая, веселая. Огонь девка, молния электрическая. А сейчас... сейчас Пульхерия Сидоровна Антонюк. Как и она, сволочь. Нас обеих так зовут – Пульхерия Сидоровна Антонюк. Мы с ней в каком-то смысле одно и то же. В юридическом смысле, если рассуждать формально. Один на двоих паспорт, одна общая жилплощадь. Общие две руки и две ноги. И оставшиеся семь зубов тоже общие. Но я не она. Я не вредная безумная старая сука. Я благородная пожилая леди по имени Пуля. Пуля Молотова, скажем. А? Ничего? Хорошо звучит? Торжественно, по-имперски. Сталинские соколы вознесли в небеса для установления нового мирового рекорда парашютистку, комсомолку и красавицу Пулю Молотову.

– Пуля, в жопе дуля. Ишь ты... Обули девку в лапти, да платье стянули. И вдули по самое не балуй. Буй тебе в глотку, а не красоту изображать. Колготки в сперме. Премия Ленинского комсомола за минет. Солнечному миру – да, да, да. Ядерному взрыву – нет, нет, нет. Фантазерка-надомница. Кайся, скоромница, алкай святого духа. Дырка от работы протухла. Шлюха, шлюха, шлюха.

– Заткнись, врешь ты все, заткнись! Она врет, честное слово, врет. Я по убеждению, из патриотизма, а она врет. И вот с таким... с такой... приходится делить жизнь. Даже день рождения у нас один на двоих. Первое января тысяча девятьсот сорокового года. И детство у нас общее. А я и рада. Пус-

кай и у этой суки вредной будет тяжелое детство. Я теперь вообще всему плохому радуюсь. Потому что этой суке тоже плохо. Только имени своему радоваться не могу. Пульхерия, надо же было так назвать. Пульхерия. А если вдуматься, какое еще могло быть имя у девочки, родившейся в Бутырке? Я там от врага народа народилась, точнее, жены врага народа. Врагини, значит. Звучит хлестко. Родилась от врагини Антонюк. Как будто от княгини Антонюк. Только не Антонюк ее фамилия была, другая. Какая, не знаю, но другая. Антонюк – это фамилия следователя, который дело матушки моей вел. Он еще сидр любил. Эстет, умница, иголки под ноготочки наманикюренные матушке загонял филигранно. И кое-что другое загонял тоже. Не знаю, свечку не держала. Но когда привез меня в детдом, фамилию дал свою, а отчество в честь алкогольного яблочного напитка. Сидоровна. Брр. На имя фантазии не хватило. Но тут добрый русский народ подсуропил. Принимавшая меня у Антонюка нянечка оказалась очень набожной женщиной. И назвала...

– *Пульхерией тебя назвала. Пульхерия, империя, из королевства Лохерия. Хер ли тут рассуждать? Давить, стрелять лохов таких надо. Херра Гитлера на них нет. Банду Ельцина под суд. Нет, ссут, не стреляют, жалеют, выпивают по углам втихаря, а зря.*

– А вот тут согласна. Редкий случай, когда с тобой, вредной сукой, согласна. А с другой стороны, может, закон тогда был, чтобы детям врагов народа жизнь портить? Имена чу-

довищные давать. Вроде как не только расстрел, но и конфискация имущества вдогонку.

– *Какие тут законы? Гандоны кругом хитрожоные. Встали в круге первом негодяи и стервы. И водят хороводы бессмысленно вокруг пакостей немислимых. Страсть как старость не любят. Не люди, а чурбаны. И бубнят все время: «Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны». Не знают дураки, что старость – это все, что им осталось. Ведь старость – это не усталость, не прыщ, созревший на заднице. Не муха цеце, не...*

– Опять за свое. Хорош. Это уже лишнее. Раз в жизни тебя похвалила, и сразу опять за свое. Господи! За что мне это наказание? Да, не монашенкой жизнь прожила. Весело прожила, безоглядно, но чтобы так? Уж лучше в аду на медленном огне жариться. Будь ты проклята, старая сука. Чтоб ты сгнила, чтоб у тебя печенка лопнула, чтоб...

– *Твоя печенка, моя печенка. Живет девчонка, а внутри еще девчонка. Шипит печенка, жарится, мычит девчонка, жалится, плачет, запустили в девку мячик. А мячик хлоп и расколол ей лоб.*

– Не могу, я больше не могу. Выше это сил человеческих терпеть такое. Умру сейчас, назло ей, суке старой, умру... Раз, два, три... умираю... И умереть не могу. Что за жизнь? Не жизнь, не смерть – пытка. Ладно, к черту все. Беру себя в руки и... Как там меня мой наставник первый учил? Товарищ младший лейтенант Игорь Сергеевич, очей и чресл мо-

их очарование. Как он учил? «Напрягаем мышцы таза, изгоняем всю заразу». Все выдохнула и спокойна, и мила, и очаровательна. И говорю. Я, собственно, почему с вами говорю? А потому что это единственный способ от бреда старой суки избавиться. Найти внутри себя, придумать, вообразить собеседника постороннего и разговаривать. Иначе от ее бубнежа не уйти. Молчишь – она говорит, споришь – она говорит, соглашаешься – она тоже говорит. Только к людям посторонним остатки уважения имеет. Что вы сказали? Вы не посторонний? Да бросьте, все мы в этом мире посторонние, одинокие существа. Боль – только наша боль, гниение – только наше гниение, и сытость наша, и пьяность, и жизнь, и смерть. Не поделиться, не раздать, не подарить. Что вы опять говорите? Вы не такой? Ну-ну, значит, не такой, а я такая. Я такая, стою здесь и жду трамвая с косой. Когда же он меня наконец задавит? Мой мальчик злой, мой трамвайчик, мальчишечка ласковый. Ой, простите, что-то я на бред сорвалась, как сука эта злобная. Простите еще раз, с кем поведешься, от того и наберешься. А что вы хотите, тридцать лет почти, в тишине и темени, наедине с безумной старухой. Говорите, вам нравится? На Цветаеву похоже? Ну что вы, ну не надо. Ни к чему, в краску вы меня вгоняете. Ах, если бы вы знали, какие прекрасные строки я написала в апреле тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Если бы вы только знали, как украсили они стенгазету факультета иностранных языков родного пединститута.

В небе расцветает наш Гагарин кумачом.
Он у Дяди Сэма спросит, что почем?
Не ответит дядя, уползет в кусты.
А Юра наш, не глядя, плюнет с высоты.

Да, были у меня золотые денечки. Не вернуть их. Были и прошли. Вы думаете, почему эта старая сука стихами говорит? Обезьяна она кривая. Это я... я говорю. Это мой талант. Опутала она меня, сволочь, впитала. И выплевывает в мир искаженную. А я внутри сижу, мучаюсь, криком ослиным захожусь. Я здесь, я тут, я прежняя, я живая. Ау, помогите мне, вытащите отсюда! Не слышит никто. Не помогает. Украла мой талант, мою внешность. Испортила все, вытянула, скрутила и ходит, сука, кривляется. Сука, тварь, гадина!

– Талант, прикрепи на жопу бант, и ходи расфуфыренная профурсетка. Метко брешь, сладко стонешь, а все равно в дерьме утонешь. Все вы, шлюхи, любите духи сладкие. Падкие на сладкое, щеки ваткой мажете, навами ходите. Сливовую наливку цедите... На курорты влажные едете, разрываете там ручками теплую курицу в шалманах. Ротесь у мужиков в ширинках и карманах. Не трогай Юру воюющей губой, он в полете, он святой архангел Советов, свет он людям дал да в тебя, шлюху, не попал светом.

– Не могу больше, слышать этого не могу. Уберите ее от меня. Выковыряйте ее из меня. Разъедините нас, убейте, выжгите. Вытравите железом каленым. Через мясорубку про-

крутите, полейте химикатами. Что угодно сделайте, но я не могу больше так! Пожалуйста! Умоляю! Молчите? Да я понимаю, сама виновата, не стоило ее упоминать в разговоре с таким приятным собеседником. Но все же я вынуждена вам кое-что объяснить о наших взаимоотношениях с этой старой стервой. Знаете, это даже не раздвоение личности. Не доктор Джекил и мистер Хайд. Все сложнее. Как торт многослойный. Я – она, я – она, я, я, я – она, я – она, она, я, я – она, она, она. И каждое «я» содержит в себе такую же сложную последовательность, и каждое «она» тоже. И дальше, и еще раз... и до бесконечности. В принципе, это можно было бы назвать сумасшествием, распадом личности. Только вот распад до конца не завершился. Полураспад, полусбор. Я осознаю себя как совершенно нормального интеллигентного человека, живущего, правда, в невыносимых условиях, но нормального. Кем осознает себя она, я не знаю. Я пыталась у нее спросить, но в ответ всегда получала ее обычный, плохо рифмованный бред. Она имеет власть над моим телом, я вижу мир ее глазами. Ужасно, как будто хорошо видящему человеку нацепили толстые окуляры, плюс двенадцать примерно. Все расплывается, смазывается, искажается, через минуту начинает кружиться голова, полная дезориентация в пространстве, я опускаю веки и сижу в темноте. Большую часть времени я нахожусь в темноте и в отчаянии.

– *В отчаянии отчалила от крутого бережка, да на берегу осталась башка глупая. Смотрит на мир лунами*

глаз, а тело в челне источает газ вонючий, челн убогий точит и дробит, дробит на башку, лежащую на крутом бережку. Вот так все устроено, построено, выстрадано, высрано, сложено кучкой, а на бережку стоит рогатый с удочкой, насадил тебя на блесну и помахивает тобой, дурочкой, остальных приманивает, прикарманивает, чтобы на тебе повисли, покуда груди налитые не отгрызли. Рогатый тобой шевелит, трепет, мутузит, мнет, чтобы живее казалась, чтобы лучше клевалось, а потом отшивырнет на помойку тебя марамойку и в койку. Помойка – старость благоухающая. А старость – это не имель жужжжащий. Не настоящий капучино, не смех без причины, не...

– Все, достаточно, заткнись, хватит! Вот видите, отличный пример. Наш симбиоз в действии. Вы думаете, я не боролась, не пыталась освободиться? Не думайте – боролась и пыталась до последнего. Бесполезно, проникли мы друг в друга, перемешались, зацементировались намертво. Не разъединить. Я первые пять лет трепыхалась еще, а потом перестала, сдалась. Ушла в глубины мутные и затаилась. Силы у меня кончились. Силы кончились, а надежда появилась. Не может же это долго продолжаться, думала я тогда. Она реально шизанутая. А значит, аллилуйя, не проживет сука вредная долго, и я вместе с ней. Так я тогда думала. Не тут-то было. Эта тварь жить хочет. Как жареным запахнет, сразу смиренная становится, ласковая, маленькая. Забивается в уголок крошечный и умоляет оттуда о помощи.

– Пулечка, сучонка, рыбка, одари улыбкой, подай ручку, пожалей дурочку, убогую калеку. Помоги человеку. Я же жить хочу, гнить, бурлить, существовать, зевать, воздухом дышать, смердить, пукать, глотать, есть. Как тесто, как невеста распухающая, кислая, перезрелая, текущая из-под фаты. Все живы, у всех бурлят животы, все живут, ждут мужа, и я не хуже.

– Во, во так и умоляет. Смотрите-ка, вы ей понравились. Кокетничает она с вами так. Редкий случай, поверьте мне, редкий. Когда она себя моим собеседникам демонстрирует во всей красе. Ну что, дура старая, и кто из нас после этого профурсетка? Извините меня, конечно, за непарламентское выражение, но довела. Довела старая сука. Обзывается, а сама... Хотя, в общем, дело не в ней. Тварь она, с ней все ясно. Дело в том, что я тоже тварью оказалась. Мелкой теплокровной тварью. Я тоже жить хочу. Вот зачем мне такая жизнь, скажите? А хочу. Охо-хо-хо, слаб человек и ничтожен. Хочу жить, и все. Зубами хватаюсь за ад кромешный, аж челюсти сводит. Зато я узнала ответ на вопрос, заданный когда-то классиком: «Кто я? Тварь дрожащая, или право имею?» Лично я дрожащая тварь и право имею... жить. Как и все, как и все, голубчик. Дрожат, боятся, мучаются и живут. Что, вы не такой? Ну-ну, а я такая. Стою здесь и жду трамвая, дальше вы знаете... Может, это просто старость? Юность храбра и безрассудна. В шестнадцать лет люди полком командуют, жизнью жертвуют. Война – дело молодых, лекарство

против морщин. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Жить бурно, вдохнуть быстро. А старость не такая. Старость скупердяйка, бережливая бабулька, мелочь в кошелечке считающая. А потому что мало, мало всего осталось. И ценишь крошечки, сопельки тоненькие и считаешь денечки короткие зимние. Экономишь, ныкаешь по углам секундочки. Не отдам. Мое... Хорошо, допустим, вы правы и дело в старости. Я согласна. Но я-то не старуха, мне лет тридцать пять максимум. Приятная дама, в самом соку. Принцесса прекрасная, заточенная в замке Кощея. Послушайте, а может, вы мой принц? Освободите меня, а? Поцелуйте, расколдуйте, а? Я вам преданной женой буду. Детишек нарожаю, полюблю, а?

– *Ишь ты, принцесса, темным лесом хоть иди в ночь безлунную. Никто не позарится на старую задницу глупую. Кому ты нужна? Не нежна, не княжна, товар лежалый. Засунь протухшее жало куда подальше. Не варят с такими, как ты, каши. Кашляй, старей...*

– Говорите, она права? Все старые себя молодыми внутри чувствуют? Наверное. Но только не со всеми разговаривает их старость стихами похабными. Не спорит, не порошит глаза теменью непроглядной, не сажает в темницу. У всех нормальных людей старость – это болячки, неприятности, боль в спине, печень покалывающая, давление скачущее, а у меня... Имя, фамилия, паспорт. Личность, чтоб ей пусто было.

– *Личность, приготовь наличность. Нет наличности, нет и личности. Никакой приличности. Срамота одна.*

– О, господи! Да заткнешься же ты наконец или нет? Сколько можно? Голубчик, а что, если вам убить нас? И меня, и ее. Я бы так была вам благодарна. Я многое умею, голубчик. Многое знаю, опыта мне не занимать. Уж так бы отблагодарила, так бы ублажила... Ну да, вы правы, трупы не ублажают и не благодарят. Забылась я. Простите меня. Но и поймите. Тридцать лет в заточении. Тут кто угодно с ума сойдет и что угодно забудет. Я и жизнь-то свою плохо помню. Так, вспышки артиллерийского огня в ночи. Залп – картинка, залп – картинка. Искажённое лицо орущего командира; земля, с неба сыплющаяся; палец, затекший на курке автомата. Отрывки, обрывки, лоскуты несшитые. И знаете что, голубчик? Кажется мне, сшей я эти лоскутки – и вырвусь на волю, выберусь из темницы ватной. Вздохну, задышу. Только вспомнить надо. Обязательно надо вспомнить. Вы же мне поможете? Убить не захотели, а вспомнить поможете? Правда? Спасибо, спасибо вам. Я знала, что в вас не ошиблась. Первый раз за многие годы не ошиблась. Остальные уродами были бессердечными, посылали меня куда подальше. Мимо проходили брезгливо, в сторону мою плевали. А вы, вы... человек. Спасибо еще раз огромное. Начнем, что ли? Как с чего? С начала, конечно. С детства.

– *Детство, холод, лодочка в тумане, одиночество, однодневство, чулочек сползающий у девочки Мани, средство от вшей, зубной порошок, на горшок строим, в столовую роем, жуужжим, едим кашу на воде, нигде не одна, не нужна никому, везде лишняя, книжками затыкаю глаза и мозг, не боюсь розг, мороз по коже и глубже, холод внутри, голод, нужник оставляет занозы на попе. Хожу в робе цвета серого. Слезы лизу вместо сладкого. Первые месячные. Украдкой меняю трусы в туалете. «Не ссы, – говорит воспиталка, – это растет давалка». И я понимаю, так умирают дети, окукливаются, в чудовищ превращаются, взрослеют, звереют, питаются кровью, вредят своему и чужому здоровью. Грешат и каются, и каются, и каются. Икается от рыбьего жира. Зачем мы все живы? Зачем? Зачем? Молчу, не понимаю. Рыбий жир ем.*

– Как говорится, вот такое у нас хреновое лето. Грустно, конечно, но что поделаешь, если лето такое. Вы спрашиваете, было ли что-нибудь хорошее? Было. Помню, что было, а что – не помню. Ну, хорошо, я постараюсь, я напрягусь. Ради такого приятного собеседника можно и напрячься. Сейчас, сейчас... Вспомнила, вижу.

Мне четыре года, осень, мы гуляем на помойке у железнодорожной станции. Ищем съестное, осязаемое, тряпочки,

кулечки. Воспиталка сказала: «Ищите, девочки, тащите мне, это игра такая – найти полезное, съестное, осязаемое, как ягодки на полянке, как грибочки в лесу». Осень. Каплет мелкий игольчатый дождик, грязь коричневая под галошами чвакает, дым серый из трубы паровоза валит, и небо такое же. Я уверена, что небо из паровоза вышло. Машина железная, страшная родила небо, а страшные люди родили машину. Всё страшное и все. И небо, и паровоз, и жизнь. Страшно, серьезно, тяжело. Чух-чух, тяжело. Медленно движется жизнь, скрежест. И я медленно двигаюсь. Я вырасту и стану паровозом. И буду медленно скрежетать, но неотвратимо. Небо серое рожу и отдам его в детский дом, пускай его государство воспитывает. Оно тоже медленное, могучее, гудит металлическим басом: «От Советского Информбюро. Войска Третьего Украинского фронта в ожесточенных и упорных боях овладели городом...» Вдруг я вижу что-то блестящее в грязи. Поднимаю, рассматриваю. Чудо невиданное, стеклянный хрусталик с острыми гранями. Я видела такой в книжке про принцессу. Я вытираю хрусталик от грязи слюнками, я облизываю его пересохшим от волнения языком, я кладу его в рот, я сосу хрусталик, перекаत्याю его за щекой, чуть не глотаю и выплевываю на ладошку. Внутри тайна. Там переливаются радужные мостики, сверкают синие молнии, молоко течет по кисельным полям. Я хочу рассмотреть чудо поближе, я подношу хрусталик к глазам и... Вырвалась, взлетела, родилась наконец-то. До этого мига билась в тес-

ной и душевной материнской утробе, а сейчас родилась. Боже мой, какой прекрасный мир, какой сложный, и цветной, и ажурный. Не паровоз передо мной, а железо с хрусталем переплелось в воздухе и звенит радостно на ветерке, ликует, осанну поет миру блистательному. «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер...» Да, ветер веселый, он действительно веселый, он другим не может быть. Ветер. И небо не серое, а белое, как платье невесты. И солнца лучик в небе, и радуг прожилки, и отражается все друг в друге, переливается, усложняется, дружит, дополняет, объем придает. А дождик игольчатый – это и не дождик вовсе. Волшебные хрусталики с неба падают. Их много, всем хватит. Маньке с вечно спущенным чулочком, другим ребятам, всем людям хватит. Доброе небо, белое милосердное небо и ветер веселый посылают хрусталики на землю, чтобы люди могли родиться, вырваться из тесной и сырой утробы на волю. Надо только поднять, найти в чвакающей грязи волшебные кристаллы. Надо постараться... Меня распирает, разрывает на кусочки. Мне хочется поделиться невероятным открытием со всеми, помочь несчастным, обреченным зародышам вырваться на свободу. Родиться.

– Нашла, я нашла! – кричу, не отрывая хрусталик от глаз. – Я нашла, ко мне, и вы найдете. Ко мне все!

Тысячи грязных, заскорузлых пальцев закрывают от меня блистательный мир. Ободки грязи под ногтями причудливо переплетаются в мохнатую тяжелую сеть. И сеть ловит меня.

И вырывает хрусталик из рук. И мир чудесный гибнет мгновенно.

– Чего разоралась, нашла, и хорошо, – ворчит воспиталка. – Давай сюда, а орать не надо.

– Нет, нет, мое! – визжу я. – Это мое, там еще есть, а это мое. Оставьте, пожалуйста. Пожалуйста, умоляю, мое это!

– Пульхерия Антонюк, – грозно ревет женщина и шлепает меня по попе, – Пульхерия Антонюк, а ну заткнулась быстро. У, вражье отродье! Без ужина сегодня останешься.

Я вырываюсь из рук воспиталки, убегая, поскользываясь и падаю носом в густую чвакающую жижу. Поднимаюсь на коленки, затравленно смотрю по сторонам. Вижу помойку, железнодорожную станцию, страшный скрежещущий паровоз. Игольчатый осенний дождик больно жалит щеки, не смывает, а размазывает прилипшую грязь. Мне холодно и беспросветно. Я поднимаю голову, гляжу на скисшее серое небо и плачу.

– Жизнь устроена четко, вроде бы как чечетка. Топчется на тебе с детства, а детство не цель, а средство. Способ хитромудрый по отделению зерен от плевел. Слабая станешь лахудрой, в пепел липкий обратишься. Не извинишься, не отмолишь ада, в дерьме собственном утонеешь. И не надо тут слезливых историй. Крокодильих рыданий. Чао, бамбина, сорри. Иди-ка ты в баню. Банищикам сказки рассказывай. Шлюха!

– Боже мой, боже мой, господи, за что мне это? За что

мне это все? Уймите ее, пожалуйста. Уберите от меня. За что она меня в грязь? Только носик из дерьма покажу, и сразу в грязь, в грязь, в грязь... Пока не захлебнусь окончательно, пока рот не забьется отвратительной протухшей жижей, пока утроба не забьется прокисшей русской землей-матушкой, пока из всех щелей не полезет, из ушей, из носа, из глаз... За что? Я же по-честному. Были у меня в жизни три-четыре хрустальных мгновения. Звонких, настоящих, а она, она... Или я? Или она? Кто она? Кто я? Помогите мне, я запуталась, забылась, утонула в себе и барахтаюсь в грехах своих тяжких. Тону-у-у-у-у-у. Спасите, тону. На помощь! Нет, не подходите ко мне, не прикасайтесь, это заразно. Вдруг вы тоже на дно пойдете? А я знаю, я секрет знаю. Нет никакого дна. Бездонная эта пропасть. У человека нет дна, только небо над головой бесконечное и пропасть под ногами невообразимая. А человек между ними балансирует на жердочке тоненькой, ручками размахивая. Вы думаете, что твердо стоите на ногах? Не думайте – иллюзия это, мираж. Одно неверное движение и... А кажется это вам для того, чтобы не страшно было. Люди – отважные существа. Глупые, слепые, но отважные.

– Иллюзия, правильно, плюнь лузерам в харю. Скрипят полозья по снегу, везут на санках живые трупы. На роду написано человеку быть глупым. А коли умный, коли не любишь денег, станешь думный, дымный, влажный. Станешь шизофреник. Совсем, совсем не важный человек станешь.

Сам себя в итоге обманешь.

— Да, да, я поняла. Все. Я поняла. Надо взять себя в руки. Даже если рук нет, все равно надо. Как там мой первый наставник, мальчик молодой, младший лейтенант, герой невидимого постельного фронта Игорь Огонь Утробы Моей Сергеевич говорил? «Глубоко дышите носом, чтобы не было поноса». Дышу. Вдох-выдох. Дышу. Вдох — успокаиваюсь — выдох — вспоминаю. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Все, успокоилась. Не верите? Правда успокоилась. Вы не обращайте внимания на мои заскоки. Это слабость минутная. Все из-за этой суки вредной. Только не уходите. Мы же с вами интеллигентные люди. Мы не будем сосредотачиваться на неприятных моментах. Да, голубчик? Вот и хорошо. Тем более я действительно вспомнила. Слушайте, дальше еще интереснее будет.

«...Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся Советская земля». Москва... Рай сияющий. Земля обетованная. После моего Мухосранска убогого лучше, чем рай. Москва, тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год. Не оттепель, а «а теперь». А теперь только жизнь настоящая начинается. Попала девочка-замухрышка в сонм небожителей московских, гуляющих по широким бульварам мимо дворцов величественных. Мороженое кушающих не в тесных каморках по праздникам, а просто так на улице, от нечего делать. Потому что лето, потому что жарко. Пединститут имени товарища Крупской, факультет ино-

странных языков, и я во всем этом великолепии. Я провинциальная, забитая детдомовская девчонка среди колонн мраморных и стягов кумачовых. Я, судьба которой завод каторжный, депо паровозное, оранжевый жилет, ключ разводной неподъемный и шпалы, шпалы, шпалы бесконечные, и небо чугунное, отражающиеся в стальных рельсах, и парни штампованные с оловянными водочными глазами. Я такая. Такая! Стою и слушаю поэтов у памятника Маяковскому на площади Маяковского в граде небесном по имени Москва. А рядом подружки веселые в платьях ситцевых и ребята правильные, крепкие, в широких брюках и рубашках, и улица Горького огнями переливается рядом. От Маяковской по Горького до Пушкинской. Это вам не Третий тупик Коминтерна, не Пятая Садовая. Это литература. Вы понимаете, Лит-е-ра-ту-ра! В самом культурном, образованном и вообще самом-самом городе на земле. И я в нем. Не могла я в нем оказаться, а оказалась. Стою, избранная, богом взасос поцелованная, поэтов слушаю. Смешное дело, пустяк, в сущности, судьбу решил. Валялись в библиотеке нашего дома детской скорби трофейные немецкие книжки. Никому не нужные валялись. А мне сгодились. Сама, сама по наитию волшебному, по листикам потрепанным немецкий выучила. Зачем, и теперь не понимаю. Но шептало внутри что-то упорно: «Учи, Пуля, учи, старайся, учи, Пулечка, и любую броню пробьешь, любые стены бетонные. Выскочишь, вырвешься на свет божий». Выучила, сдала экзамен, и вот теперь зачис-

лена, принята в несколько миллионов апостолов советской мечты. В Москвичи первозванные. Да разве в Москве одной дело? В широких бульварах, высотках стремительных и огнях переливающихся? Это все ерунда, бесплатное приложение к главному. К людям. К замечательным, добрым, сильным, верящим и уверенным людям. Впервые я себя нужной почувствовала. Не лишней, а нужной. Не из милости хлебом студенческий. Учусь усердно. Необходима везде. И в комитете комсомола, и в факультетской газете, и в кино пойти с компанией подружек, и с ребятами пройтись под ручку чинно-благородно по Гоголевскому бульвару. А на ручке алая повязка с желтыми буквами «Дружинник». И да, дружинник, потому что со всеми дружу, и все со мной дружат, и дружные мы ребята завоюем этот мир и не этот тоже. И на пыльных дорожках далеких планет останутся наши следы. Да я за нужность свою, за чувство сопричастности к чему-то великому, светлому, чистому всю кровь свою до капельки отдать могла. Не звереныш я отныне, по углам темным прячущийся. Голова опасливо втянута в плечи, взгляд шарит по земле в поисках чего-нибудь полезного. Нет, отныне я гордая советская девушка, красавица и комсомолка Пуля Антонюк. И фигня, что Антонюк, и похуже фамилии бывают. Все равно гордая. Вы не поверите, я же до двадцати одного года девочкой была, нецелованной, чистой, невинной. Не то чтобы парням не нравилась, наоборот, каждый второй в любви признавался, но не нужно мне это было. Другое чувство в

груди жило. Светлое, советское, монашеское почти.

– *Девушки-лебедушки макают хлебушек в кровушку. Снаружи чистые, коммунистские, а внутри червивые, полны глистами, подстилки фашистские. Влажные, авантажные суки. Руки с постриженными ногтями, на лицах улыбки. Не лебедями мечтают быть, а блядьми прыткими. Прыгать, попами дрыгать, наслаждаться. И сношаться, сношаться и снова сношаться.*

– Врешь, тварь старая. А вот это ты врешь! Не была я тогда такой. Потом стала, а тогда не была. Метались, конечно, в голове мысли всякие, особенно по ночам, но гнала я их. Не понять тебе, вредной циничной старухе, меня тогдашнюю. Я испортить боялась, вот это чувство монашеское, светлое боялась испортить. Дружеское, теплое чувство вовлеченности и нужности своей. После стылого детдома, после рельсов, шпал, помоек и дождей вечных, когда понимаешь до косточки последней, до ноготка обгрызанного, понимаешь значение слова СИРОТА. Голубчик, никто не понимает этого слова лучше, чем я. Сирота – это не просто ребенок без родителей, это болезнь, диагноз неизлечимый. Серота. Нет, нет, я не ошиблась – через «е». Серая убогая жизнь тупиковая. Сорота. Насорили тобой предки необдуманно, а другие люди подметают тебя в угол темный, избавиться хотят, да не могут. И срамота, и бедность, и стыд, и уродство. Вот что такое сирота. А меня излечили, в другую жизнь, нормальную, воткнули. Случайно почти. Один шанс из миллиона. И

чтобы я из-за похоти глупой, из-за гормонов тривиальных обратно вернулась? Да я всю жизнь девой старой прожить была готова, лишь бы не обратно. Помню, лежала в общежитии на койке ночью и думала украдкой: «Ах, жалко, как жалко, что нет советских монастырей. Я бы ушла, я бы работала всю жизнь на стройках коммунизма. Или с миссией поехала бы в Африку советскую власть проповедовать черным нашим братьям. Только без мужчин, с подругами. Как может мужчина с женщиной, когда добро такое, и чистота, и дружба? Нельзя, никак нельзя. Святость человеческая разрушится, если женщина с мужчиной...» Правда, голубчик, я правда так думала. Но, как говорила нянечка у нас в детдоме: «Природа науку одалиёт». Влюбилась дура. А как влюбилась и в кого, не помню. Но я вспомню, голубчик, обязательно вспомню. Я попытаюсь. Нужно вспомнить. Что-то даже вижу уже. Что-то неясное, расплывающееся. Флаги, много красного цвета, много счастья, толпа людей. Не демонстрация, стихийно. Странно, стихийно люди на улицы вышли. Не к дате. И счастливые. Странно... Чувство такое невообразимое. Гордость, всемогущество, подтверждение какое-то, что правильно все идет. Еще чуть-чуть, и коммунизм, за поворотом буквально, в нескольких метрах. Космическое чувство... Вспомнила. 12 апреля 1961 года. Гагарин.

– *Молчи, тварь. Гагарин, гарь, гагары в небе. Гагры знойные. Не трогай гнойными руками героя. Заткнись! Не марай гноем святое.*

– Гагарин в космосе. Я с девчонками выбегаю на улицу. А там другие похожие на нас девчонки и парни. И дяди, и тети, и дети, и старики. Все кричат, бросают шапки в небо. Гагарин в космосе! Значит, все подвластно, и смерти нет. А есть жизнь вечная, юная. Царство божие на земле наступает. Не зря страдали, недоедали, воевали, мерзли, росли в дет-
домах, сидели в лагерях, затыкали своей плотью вражеские доты, шли на таран и рвали тельняшки на груди. Гагарин в космосе! Я бегу по улице, ору что-то бессвязно, смеюсь. А вдоль тротуаров бегут весенние ручьи и тоже, кажется, смеются и журчат неразборчиво. Гагарин в космосе. А значит, все возможно. И Ленина оживят, и тундру ананасами засадят, и счастливы все будут и здоровы. От избытка счастья, от чувства распирающего я спотыкаюсь, отталкиваюсь от земли и лечу. Мне кажется, в космос лечу. Но нет, не в космос. Журчащие бессвязно счастливые ручьи быстро приближаются, но тут меня подхватывает... меня подхватывает...

– *Заткнись, тебе нельзя помнить. Ломит, ломит, ломит везде. Плющит, таращит, мозг колючей проволокой тащит. В голове кирпичи. Молчи, молчи...*

– Меня подхватывает... меня подхватывает... Он. Он такой... такой...

– *Пулечка, милочка, не тыкай вилочкой в череп. Терем наш рушится. Послушайся меня, не выживем. Очень хочется жить. Послушайся!*

– Такой... Ой, голубчик, я не могу. Я не могу вспомнить.

Круги перед глазами. Темнеет все, и больно, очень больно. Но я попытаюсь, попробую.

– *Не надо. Ладаном пахнет. Смерть я чувю. Я оплачу, я замолчу. К врачу, Пулечка, к врачу. Умоляю!*

– Голубчик, как больно. Рвется что-то навсегда. Умираю я, похоже, голубчик. Помогите мне. Дайте сил перетерпеть и сдохнуть. Помогите, успокойте, пожалуйста. Нет! Не помогайте, жить хочу, жить. Силы дайте. Жить дайте, жить, дышать. Эй ты, старая сука, не молчи. Говори. Пока говоришь – живем.

– *Смерть, твердь, меряет смерть сроки. Руки стынут, укорачиваются, превращаются в культы. Мульттики в глазах камнем мелькают. Нееем мы, Пуля, кончается воля, секундочки тают, плавятся. Нам не справиться с этим. Нам с этим не справиться. Какой страшный в глазах мульт. Где пульт, Пуля? Где пульт? Переключи!*

– Инсульт?

– *Инсульт! Кричи Пулечка, кричи, лечи, лети. Плетки нас бьют раскаленные. Распятые мы с тобой, покоренные временем. Последние гвоздики заколачивает время. Ой, болит, болит темя. Рвется мозг от ударов розг. Не видно ни зги. Помоги, Пулечка, помоги нам!*

– А, старая карга, испугалась? Ссышь, когда страшно?! Не ссы. Вместе сдохнем. Вместе веселее. Я сама боюсь, держись меня, я смеюсь, бьюсь, заго... заго... заго-вариваюсь, сь, ссссс... У нас ин... ин... ин-культ, ульт, т, т...

– Инсульт, пулт, пулт, инсульт, пулт, пулт, пулт,
пулт, султ, пу... пул... Пуля!!!!!!!!!!!!!!

День начался плохо и закончился еще хуже. А в промежутке было много чего хорошего. «Как и человеческая жизнь, – рефлексировал после Петр Олегович. – Рождается человек в мучениях, умирает в ужасе и тоске, а посередине пиво ледяное в погожий летний денек, баба горячая, податливая, как перина пуховая, бессмысленная нежная улыбка ребенка, только что купленная, статусная и агрессивная тачка, умопомрачительно пахнущая новой кожей, и еще много подобной забавной дребедени и смешной чепухи». Петр Олегович не любил рефлексию. Про себя обзывал это пустое занятие духовным онанизмом. Но иногда, крайне редко, когда жизнь внезапно и без особых причин входила в зону турбулентности, он, торопясь и краснея, как подросток, все же предавался постыдному занятию. Думал, проводил параллели и даже (не дай бог, кто узнает!) пописывал стишата в потрепанную клеенчатую школярскую тетрадь. «Турбулентность, тряска», – стеснительно объяснял он сам себе недостойную солидного и состоятельного мужчины ерунду и успокаивался.

День, как это обычно и случается, не заладился с ночи. Петру Олеговичу приснился сон. Это было само по себе плохо. Не должны сниться сны могучим пятидесятилетним государственным мужам. Жила бы страна родная, и нету дру-

гих забот. Какие, к черту, сны? На худой конец, Петр Олегович допускал нечто вроде заставки на время перехода государственного мозга в спящий режим. Двуглавый орел на фоне триколора или там улыбающийся Путин, сидящий в кимоно на татами. Но сон? Плохо, очень плохо, непатриотично даже. Небольшой грех, конечно, а все же грех. Еще хуже, что приснилась ему собственная смерть. Причина смерти осталась за пределами сна, а все остальное было, как в прочитанной когда-то книжке доктора Муди, о людях, переживших остановку сердца. Длинный извилистый черный тоннель и ослепительный белый свет в конце. Петр Олегович не испугался. Это в советской наивной юности тоннель устрасал. Так тогда и джинсы казались восьмым чудом света, а сейчас, сейчас... «Как в аквапарке в Дубаях, – думал Петр Олегович, скользя по черной трубе. – Нет, в Дубаях, пожалуй, покруче было. Все-таки гостиница шесть звезд, 1200 евро за ночь». В конце длинного путешествия перестало даже захватывать дух. Петр Олегович скользил по тоннелю, входя в неопишуемой крутизны виражи, и раздраженно прикидывал, что вот по окончании аттракциона надо предъявить претензии организаторам, потому что нельзя делать трубу столь длинной. Изюминка пропадает. Потом он неожиданно вспоминал, что не аттракцион это, а умер он и несется к свету, как и предсказывал прозорливый Муди. Но раздражение не уходило. «Все же слишком, слишком длинно, непорядок». Наконец белый свет существенно увеличился в размерах, заполнил

собой все кругом, и Петр Олегович с облегчением вывалился из трубы. В книге доктора Муди было написано, что блаженство должно наступить, когда в свет попадаешь. Блаженство, не блаженство, но облегчение он испытал конкретное, уж больно мутило от долгого путешествия по извилистому тоннелю. Блаженство наступило после, когда Петр Олегович понял, что его выбросило в точную копию кабинета президента Путина в Кремле. Бывал он там при жизни пару раз по служебной надобности. «Я попал в рай, – обрадовался он. – Конечно, в рай. А что? Служил честно, отщипывал умеренно, о Родине не забывал. Куда же мне еще? Только в рай». Впечатления от рая портил небритый грустный мужик, нагло положивший ноги в красных кедах на президентский стол. Мужик меланхолично отхлебывал виски из толстого стакана с золотым двуглавым орлом и печально глядел на Петра Олеговича.

– Привет, – сказал мужик, еще раз глотнув из стакана, – с прибытием.

– А я где? – растерянно спросил Петр Олегович, пытаюсь примирить, совместить в одном пространстве президентский кабинет, красные кеды и небритого грустного мужика.

– Нигде.

– А как я сюда попал?

– Никак. Это же логично, согласишься? Если нигде, то никак.

– Я что, умер?

– Пожалуй, что и умер, хотя... Да нет, умер.

– А вы, стало быть, бог?

– Сложный вопрос. Иногда кажется, что бог, иногда, что тварь дрожащая, а иногда, что право имею. В общем, давай без церемоний, по-простому. Называй меня Абсолютом.

– А почему Абсолютом?

– А потому что я абсолютно точно существую, в отличие от тебя.

– А я?

– А ты как квант или фотон, не помню, всегда у меня были нелады с физикой. Однажды опыт хотел поставить пустяковый, так чего-то напутал, не то не с тем смешал, ошибся в расчетах и... Большой Взрыв произошел, такой, понимаешь ли, большой, что до сих пор последствия расхлебывать приходится. Неважно. А важно другое. Ты, Петя, как квант или фотон, существуешь в определенном месте с определенной вероятностью, точнее, с неопределенной, поскольку свободой воли наделен.

– Господи, так ты есть?

– Я есть. I am...

Что-то было не так. Не убеждал Петра Олеговича странный бухающий мужик в красных кедах. Не тянул он на бога никак. Хотя, с другой стороны, кабинет президента все же, тоннель черный. Но откуда в кабинете взялось это создание? Не бог, а хипстер какой-то с Болотной, прости господи.

– Я-то прощу. Две копейки дело простить, – печально

сказал мужик, отвечая на мысли Петра Олеговича. – Но ты меня, Петь, поражаешь. Все вы меня поражаете. Взрослый ведь дядя. Пост солидный занимаешь. А на пиар ведешься, как туземец с острова Пасхи. Ну хорошо, если тебе так легче будет...

Мужик стал расти, заполнил собой все пространство немаленького кабинета и превратился в огромного белого старца в ослепительно белой тоге, с белыми зрачками на фоне белых глаз, белейшей бородой до пояса и блистающим белым нимбом над головой. Было непонятно, как белые цвета не сливались друг с другом, но не сливались. Белый, белее, еще белее, белый, насколько это возможно... и все-таки еще белее. Петра Олеговича проняло. «Бог, правда бог», – в ужасе подумал он. В голове выстроилась нехитрая логическая последовательность. Если существует бог, значит, есть рай и ад, а он, Петя, грешник. По всем понятиям грешник. И будут его сейчас судить, и не отмажешься, не занесешь кому надо, и условного наказания не добьешься. Судить его будут, а потом жарить на медленном огне. Вечно. Перед внутренним взором, как и сказано было в книжке профессора Муди, пронеслась вся жизнь. Вот он, сын шлюхи, безотцовщина, поступает в МГИМО. Не просто так поступает, конечно, а потому что сообразил перед экзаменами зайти в первый отдел института и подписочку дать короткую о сотрудничестве с защитниками родины. Из чистого патриотизма, конечно. По большой любви и влечению. Он сообразительный маль-

чик был и инициативный. «Инициативник» – так и записал у себя в потрепанном гроссбухе седой начальник отдела. А потом он терпел унижения от золотой советской молодежи, шестерил у них на веселых пьянках, бегал за водкой к таксистам и строчил, с наслаждением строчил на них доносы своему куратору. И оперативный псевдоним у него был сначала Цурикат, за экстремальную худобу и хитрый прищур маленьких водянистых глазенок, а потом его переименовали в Толстого, за значительный объем предоставляемой писанины. КГБ над ним тоже поглумился. Нигде за своего не считали. От тоски и двойного унижения он подумывал на стажировке в Египте зайти в американское посольство и предложить свои услуги пиндосам, но страх возобладал, и он продолжал, стиснув зубы, строчить пухлые отчеты в Контору. Один только счастливый случай в его молодости и произошел. Влюбилась в него толстая очкастая дура с добрыми воловьими глазами, Катька Зуева. Он сначала бегал от нее пару лет. Потому что непрестижно с уродливой тихоней якшаться. Золотая молодежь не поймет, а там и из института могут вышибить, если стучать он на них не сможет. Кому он нужен, сын шлюхи и безотцовщина? А потом озарение снизошло. У Катьки-то отец, какой-никакой, а чин в Ленинградском управлении КГБ, чуть ли не заместитель начальника. Это же шанс его. Может быть, единственный в жизни шанс. Лихо лишив девственности ошалевшую от неожиданно проявленной взаимности тупую корову, он скоропо-

стижно на ней женился и стал ожидать полагающихся в виде приданого бонусов. Как же... от ее папаши, правильного до скрежета зубовного старикана дождешься. Всего-то и получил кооперативную однокомнатную квартиру в Чертаново. Работу мелкого клерка в советском посольстве в Тунисе да звездочки младшего лейтенанта в Конторе. Приняла его все-таки корпорация. Постарался старый пердун. Но опять унижение, младшего получил, а мог бы и старшего дать. Нет, опустил, на место скромное в жизни указал. Беда заключалась в том, что Катька Зуева стоила намного больше этих скромных бонусов. Полковника за нее надо было давать как минимум и дачу на Николиной Горе. Через несколько месяцев отупляющей посольской жизни в Тунисе бесить Катька начала неимоверно. Ходила, трясла перед носом своей неуклюжей толстой задницей, смотрела кротко и умоляюще добрыми воловьими глазами. По шее ей хотелось дать. И давал, и поколачивал, а потом и побухивать стал от тоски и безделья. Даже беременная от него пару раз получила. А сама виновата. Не билетом счастливым лотерейным оказалась, а пустышкой. Тем более, наступили в стране смутные времена. Перестройка, гласность, а затем и демократия плитой бетонной с небес плюхнулась. Это раньше, при совке благословенном, круто было за границей работать. Приехал на родину с чеками Внешпосылторга, и ты король. А в лихие девяностые в задницу эти чеки засунуть можно было. Кто успел, кто хапнул первый по-наглому, тот и на коне. Он не успел, торчал

в проклятом Тунисе, когда ушлые ребята страну дербанили, строчил унылые доносы на унылых посольских служек и спивался от тоски. И все из-за нее, из-за Катьки толстозадой. Когда вернулся в девяносто шестом году в Москву, совсем прижало. Уволился из органов, бухнулся в ноги к ненавистному тестю и попросил устроить. Хоть куда, хоть в самую завалящую фирмешку, лишь бы денег побольше. Устроил, конечно, положение безвыходное, внуков его кормить нужно было. Двое уже к тому времени народилось, мальчик и девочка. Устроил, но унизил, как обычно. Прямо при нем позвонил дружественным банкирам и сказал:

– Уважьте, возьмите моего зятя на работу, он у меня хоть и туповатый, зато честный и исполнительный.

В банке та же золотая советская молодежь ошивалась или антисоветская, хрен их разберешь. И так же они к Пете относились, как однокурсники в МГИМО. Подай, принеси, разберись. И так же он их ненавидел. И стучал на них так же в Контору. Но еще и крысятничал помаленьку, и стравливал их между собой, и отщипывал от них немножко. Много не мог. Кто он – и кто они? Он – безопасник, вертухай, пес цепной прикормленный, а они – хозяева жизни. Как ни странно, его в банке любили, считали скромным и ответственным работником, образцом верности и порядочности. А он тихой сапой, тихой сапой банк-то у них и отжал. Главного акционера в тюрьгу посадил, а потом вытащил за благодарность в виде контрольной доли. Остальные сами по заграницам

разбежались. Произошло это в начале двухтысячных, когда Катька из пустышки, из ошибки самой чудовищной в джекпот превратилась невообразимый, в волшебную палочку натуральную. Ее отец знал Путина. Не то чтобы друзьями были, но общались в легендарной чекистской молодости национального лидера. Все. Этого было достаточно. Имидж зятя друга самого Путина, «Лучшего, лучшего друга», – интимным шепотом настаивал в частных разговорах Петя, и статус владельца небольшого, но крепкого банка открывал любые двери. Вот тогда он зажил. Из Петьки, Пети, Петюни в Петра Олеговича превратился, а потом и в грозного, всемогущего дядюшку П.О. Вот тогда мир заплатил ему за все. Бабы, машины, квартиры, Канары, это понятно, это – само собой разумеется. Но и месть, вкуснейшая в мире холодная закуска, и возможность покуражиться над бывшими обидчиками. Он заходил в офисы постаревшей советской золотой молодежи и антисоветской тоже и в офисы отдаленно напоминавших этот самоуверенный человеческий тип бизнесменов заходил. И дрожали длинноногие секретарши, и падали ниц владельцы заводов, газет, пароходов, и рушились незыблемые, казалось, бизнес-империи. А пускай не думают, что с золотой ложкой во рту родились. Пускай страх божий знают. Слово и дело! Петр Олегович не жадничал, отбитые активы не в свой карман складывал, а в казну отдавал или в карман нужных казенных людей. Моральное удовлетворение от собственного всемогущества перевешивало все возмож-

ные денежные выигрыши. Которые, впрочем, тоже имелись. Меньше, чем хотелось бы, но имелись. Больше не позволял хапать вредный тесть. Что с него взять? Человек старой формации – без полета, без фантазии. Типа, правнуков обеспечил, а за праправнуков пускай у внуков голова болит. Петра Олеговича заметили, оценили его деловые качества, искреннее рвение и относительную, вынужденную честность. Заметили и поручили создание крупного государственного холдинга оборонной тематики. Он справился. Дело-то любимое, навещать бывших своих обидчиков, понтовитых и ушлых уродов, орать им в ухо имя государево да активы отнятые в котомочку складывать. А кто непонятливый, с тем все можно делать, буквально все, ему на самом верху сказали. Петр Олегович хватал новые веяния на лету и измывался над непонятливыми упрямыми с фантазией гениального художника-сюрреалиста. Одного из них он восемь раз сажал и выпускал из тюрьги, пока тот, предварительно не отдав все активы, сам не взмолился о посадке и не попросил прокурора на суде увеличить ему срок с семи до десяти лет. Так рождалась легенда. К неофициальному статусу зятя друга Путина прибавился официальный статус главы крупного государственного холдинга, а к нему снова неофициальный леденящий кровь имидж грозы средне-крупного бизнеса. На гремучую смесь статусов и имиджей очень хорошо клевали молоденькие восторженные журналистки, не говоря уже о прочих многочисленных дамах московского полусвета. Жизнь, в

принципе, удалась. Отравляли ее только два обстоятельства. Во-первых, приходилось жить с ненавистной, еще больше от возраста подурневшей Катькой. И не просто жить, а всячески ублажать престарелую идиотку. Даже трахать ее периодически. С годами это становилось делать все труднее и труднее. Сначала он представлял на ее месте одну из своих молоденьких любовниц. Потом не одну, а всех сразу. Потом, когда и это перестало действовать, стесняясь, попросил ее вставить грудь четвертого размера и накачать ботоксом губищи. Лучше бы он этого не делал. В сочетании с большими и добрыми воловьими Катькиными глазами губищи и сиськи делали ее похожей на глянцевую буренку из молочной рекламы. В довершение всего она еще и тоскливо мычала во время секса. Петр Олегович решил эту проблему, купив тайно беруши и сократив интимную близость с женой до одного раза в месяц, в самую безлунную и темную ночь месяца. Но спать приходилось в одной постели, но завтракали они за одним столом, но целовала она его раздутыми ботоксными губами дважды в сутки, провожая и встречая с работы. Это было невыносимо, но хотя бы понятно. За статус зятя друга Путина, как и за все в жизни, полагалось платить. Тем более существовали приятные отдушины в виде всеобщей уважухи, страха, неисчислимых любовниц и даже (уж на что смешное дело) потаенных стихов в клеенчатой школярской тетради. Да и вообще сладость жизни без маленькой толики горечи ощущается плохо. Горечь придает объем жизни.

Только ее немного должно быть, в меру. У Петра Олеговича было в самый раз. А вот второе обстоятельство, о котором он узнал только сегодня, хоть и во сне, зато твердо и навсегда, видимых противоядий не имело и грозило дотла спалить с таким трудом отстроенную жизнь. Оказывается, на свете существовал Бог. Прав, тысячу раз прав был великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский: «Если бога нет, то все позволено». От этого постулата и отталкивались все современные российские трезвомыслящие люди. Нет бога, и слава богу, что нет. Засучиваем рукава и работаем. А если есть? Тогда все доблести, победы, хитрости и интеллектуальные взлеты преступлениями оборачиваются несмываемыми. И что делать? «Но я же еще не самый худший, я хуже знаю, намного хуже, – лихорадочно уговаривал сам себя Петр Олегович. – Я, по распределению Гаусса, где-то в самом начале кривой мерзости. И вообще, что я, собственно, такого делал? Никого не убил, не изнасиловал. Доносил? Так все стучат. Воровал? Это да, но скромно, по сравнению с другими ой как скромно. В тюрьму людей сажал? А они что, плейбои эти доморощенные, ангелы, что ли? Вот они как раз и убивали, и насиловали, и воровали. Руки у них по локоть в крови. Вон, говорят, Ходор, мэра Нефтеюганска мочканул, а все диссидента из себя корчит. Да я на их фоне еще ничего. Как там в эпиграфе к «Мастеру и Маргарите» сказано: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Вот именно, что «часть». Маленькая, незамет-

ная частичка, и добра много сделал. Сколько активов в казну народную вернул? Мысль про маленькую частичку Петру Олеговичу очень понравилась. И про добро тоже. А то, что на фоне остальных он почти святым выглядит, уничтожило последние сомнения. «Так и будем строить стратегию защиты, – решил он. – Бог же реальный чувак, реалист то есть, с большим управленческим опытом существо. Понять должен». Немного смущало поколачивание беременной жены. Трудно это объяснить. Но, в конце концов, должны же и у святых быть небольшие грехи. И на солнце есть пятна. Он уже собрался начать патетическую оправдательную речь, но в последний момент вспомнил. Был еще один грешок. И не грешок, пожалуй, а огромный грешнице. Дело в том, что солидный и влиятельный Петр Олегович ... дрочил. Нет, сексуальных утех ему хватало. Даже более чем. Он дрочил, только когда ему было страшно, и то в особых случаях. Допустим, когда у него в холдинге была прокурорская проверка и его реально могли посадить, он не дрочил. И когда премьер-министр песочил его на правительстве, он не дрочил. И когда его кортеж обстреляли в Дагестане боевики, он не дрочил. Он дрочил исключительно на катастрофы. Первый раз это случилось солнечным сентябрьским днем 2004 года. В своем кабинете он по телевизору следил за штурмом школы в Беслане. А когда увидел, когда увидел... взрывы и бегущих окровавленных детей, он, как лунатик, встал с кресла, проследовал в комнату отдыха, вытащил из штанов стоящий

колом член и принялся яростно наяривать его ледяной правой рукой. Он помнил, хорошо помнил это ощущение, холод руки на члене и ошпаривающую теплоту члена в холодной руке, а потом горячие, липкие капли на запястье, мгновенное облегчение и обрушившийся вслед за ним вопрос: «Что это было, я что, маньяк?» С тех пор ЭТО случалось регулярно. Самолет разобьется, сотни погибших – дрочил. Поезд сойдет с рельсов – дрочил. Теракт, десятки покалеченных – дрочил. Условий было три. Неожиданность и нелогичность катастрофы, большое количество жертв и наличие среди них детей. Ему всегда было не по себе после, но он не хотел, не мог думать, почему ЭТО с ним происходит. Только однажды задавленные мысли прорвались в якобы шуточных строчках, записанных в заветную школярскую тетрадь.

Маньяки у реки едят друг другу руки.

Нет, они не дураки... они просто суки.

И все, больше он этой темы не касался. В конце концов, если бога нет, то все позволено и каждый развлекается как может. А бог, оказывается, есть, вот он, снова превратился из старца в небритого мужика, сидит перед ним, положив ноги в красных конверсах на стол, виски попивает и смотрит печально и осуждающе. Есть, оказывается, бог.

Петру Олеговичу стало так стыдно и страшно, как никогда до этого. Один фактик, маленький, смешной, в сущно-

сти, фактик, перевернул всю его вполне достойную жизнь, поставил ее под каким-то очень точно рассчитанным, единственно возможным углом, неэстетично раком и заставил его содрогнуться от тоски и отвращения к самому себе. Все было не так, вся изворотливость и ловкость его оказались ни к чему. И бабки ни к чему, и статус, и все остальное. Если он на детей мертвых дрович – ни к чему. Петр Олегович икнул, закусил губу и начал быстро сходиться с ума.

– Да не переживай ты так, – утешил его мужик в красных кедах. – Ну, дрович и дрович, это как раз очень естественно. Эрос и Тантос всегда рядом ходят.

Петр Олегович мгновенно перестал переживать. Его сильно озадачила изреченная божественная мудрость. Что такое Эрос, он знал, а что такое Тантос, даже не догадывался.

«Может, болезнь нехорошая? – предположил он. – Типа триппера. Но при чем здесь триппер? На что он намекает?»

– Триппер здесь ни при чем, – ответил его мыслям мужик. – Хотя, с другой стороны, как посмотреть. А Тантос – это смерть. Любовь и Смерть по одним дорожкам ходят и за ручку держаться. Так уж я решил когда-то. Может, и зря, а может, и нет. Опять как посмотреть. Дрочка твоя, Петя, это, конечно, экстремально резкая, но все-таки вполне понятная реакция на ужасы бытия. Ты своей дрочкой как бы отвечаешь смерти: а я жив, я существую, я способен размножаться. Фиг тебе, смерть, а не мне, обойдешься. Акция протеста своеобразная. Много в ней человеческого, и, значит, не

пропавший ты совсем еще. Это даже благородно, Петь, с моей точки зрения. А поскольку точка зрения здесь существует только моя, то плюс тебе, Петя, большой жирный плюс.

Петр Олегович приободрился и радостно подумал: «А я знал, я говорил, не пропавший я. Да я на фоне других вообще орел. Рай, рай давайте заслуженный».

Небритый мужик поставил стакан с двуглавым орлом на стол и заразительно рассмеялся.

– Ну, Петь, ты даешь, – сказал он, вытирая выступившие от смеха слезы. – Ну, ты и лихой мужик, акробат прям, эквилибрист на шаре. Рай за дрочку, это все же чересчур. Не находишь? Дрочка, оно, конечно, хорошо. От своих слов не отказываюсь. Дрочка – это плюс, без сомнений. Точно плюс, решили. Дрочка – плюс, а все остальное, Петь, – минус. И угол зрения на твою жизнь, он, правда, единственно возможный. И другого нет. Ты посмотри на свою жизнь под этим углом. Повнимательнее, Петь, посмотри. Что же ты с жизнью своей единственной сам, собственными руками сотворил? В кого же ты превратился, а главное, зачем? Ради чего? Посмотри, Петь, внимательно. Тебе быстро понятно станет.

И Петя посмотрел. Тоска и блевота, блевота и тоска, вот что такое его жизнь. Сам себя в тоску и блевоту загнал, хотя рядом были озера прозрачные и ручьи хрустальные. Рядом, только руку протяни... «Хамство, – пошатываясь от вывернувшего наизнанку организм знания, подумал он. – Как же я умудрился вселенной так нахамить? И Ему, и себе. Как же

я смог? Это ж постараться надо. Захочешь специально и не сможешь, а я смог. Да за преступление такое расстрела мало, ада мало, всего мало. А он еще разговаривает со мной, смеется, улыбается, плюсы какие-то ставит. Добрый он безгранично и терпеливый. А я недостоин. Недостоин воздухом с ним одним дышать, не то что видеть и разговаривать. Тварь я, козел, урод, имбецил конченный...» Петр Олегович рухнул на колени, склонил голову и завыл:

– Прости-и-и-и-и меня-я-я-я-я, Господи! Покара-а-а-а-а-й меня, пожа-а-а-а-лу-у-у-уй-ст-а-а-а...

Небритый погрузневший мужик, тяжело вздохнув, встал из-за президентского стола, подошел к Петру Олеговичу, погладил его волосы и протянул ему недопитое виски в стакане с двуглавым орлом.

– Ну что ты, хватит, хватит. На, выпей, легче станет.

Дрожащими руками Петр Олегович взял стакан и сделал два глотка. Легче не стало. Только из глаз внезапно покатились горячие и тяжелые слезы. Он обнял красивые красные кеды мужика и расплакался.

– Хватит, хватит, Петь, – ласково сказал мужик, осторожно высвобождая ноги из его объятий. – Я-то прощу. Две копейки дело – простить. Чего мне, простить тяжело? Я же понимаю. Ну, запутался, по легкому пути пошел, а он тяжелым оказался. Да и обстоятельства внешние не то чтобы благоприятствовали. С кем не бывает? Прощу, конечно. Все, считай, что простил.

– Правда? – не поверил до конца Петр Олегович. – Меня, такого – и простишь? Меня? Такого?

– Конечно, правда. Бог сказал – бог сделал. Не волнуйся. Простил уже.

Теплая молочная волна благодарности накрыла Петра Олеговича с головой. Он сам благодарностью стал, задохнулся от избытка чувств, слов и мыслей и снова расплакался, еще пуще прежнего. Бог помолчал немного, неловко потоптался с ноги на ногу и стеснительно, даже немного виновато сказал:

– Только вторую твою просьбу, Петь, я выполнить не смогу. Ну, насчет покарать. Оно, может, и неплохо было бы покарать тебя, полезно, по крайней мере, для будущего. Только уж извини меня, будущего не будет.

– Какого будущего? – не понимая, спросил Петр Олегович.

– Никакого, Петь. Ни рая, ни ада, вообще никакого.

– Это, это наказание такое, Господи? Это для меня только, да?

– Нет, Петь, это для всех. Ты только не думай, что мне такая ситуация нравится. Я по-другому хотел. Как вы себе примерно и представляете. Ну, там, рай, ад, чистилище, цикл перерождений и тому подобное. Знаешь, как мне вас жалко? Вы такие забавные, такие по-смешному глупые и отважные... и в никуда. Обидно, стыдно даже, по-другому я хотел. Но не получилось. Я тебе рассказывал, с физикой у меня

проблемы. Не догнал, напутал чего-то. Не получилось. Извини.

– А что же будет? – На вдохе, давясь затвердевшим вдруг воздухом, прошептал Петр Олегович.

– А ничего не будет. Пустота будет и небытие. Единственное утешение, что пустота – это тоже я. Но я понимаю, Петь, утешение слабое. Объяснить это трудно, легче показать. Короче, смотри.

На месте двуглавого орла над президентским креслом, образовалась круглая дыра, а за ней не было «ничего». «Ничего» не имело цвета, запаха, температуры, оно вообще ничего не имело. «Ничего» отдаленно напоминало отверстие от разрывной снайперской пули в груди дагестанского боевика, которое Петр Олегович увидел однажды. Но было намного, намного страшнее. И еще «ничего» засасывало Петра Олеговича в себя.

– Подожди, подожди, – заорал он, цепляясь за разнообразные предметы президентского кабинета и медленно поднимаясь в воздух. – Подожди, Господи, я не хочу, давай в ад, в котлы кипящие, что угодно, только не это!

– Извини, Петь, я не могу.

Стулья, чернильницы, письменные приборы с президентского стола кружились вокруг Петра Олеговича, обгоняли его и со свистом исчезали в страшной дыре на месте герба России.

– Подожди! – кричал Петр Олегович, уцепившись за

стол, висая вниз головой и почти касаясь ногами границы дыры. – Подожди, давай еще поговорим, мы не все выясняли!

– Все, Петя, все. Мы выясняли все.

Петра Олеговича оторвало от стола и почти засосало в страшную дыру. В последний момент он успел уцепиться за ее скользкие, постоянно расширяющиеся края. На месте бывшего герба торчала только его голова. Прилагая невероятные усилия, чтобы окончательно не утонуть в дыре, Петр Олегович выкрикнул последний мучивший его вопрос.

– А зачем тогда все, Господи? Зачем ты мне жизнь мою показывал, зачем разговаривал со мной?

– Ты думаешь, я с тобой разговаривал? – заторможенно ответил небритый грустный мужик в красных кедах. – Нет, Петь, ошибаешься. Я давно уже ни с кем не разговариваю. Сижу здесь вечность и говорю сам с собой. Все время говорю сам с собой. С собой... сам... говорю. Все говорю и говорю, сам спрашиваю, сам отвечаю. Сам... сам... сам... говорю...

С мужиком начала происходить уже знакомая Петру Олеговичу трансформация. Он снова превратился в огромного белого старца и заполнил собой весь кабинет. Но трансформация на этом не завершилась. Последнее, что увидел Петр Олегович, было слияние неисчислимых оттенков белого на теле громадного старца в один невозможно чистый и яркий белый цвет. Старец исчез, и вместе с ним исчез президентский кабинет, и весь мир, и скользкие края страшной дыры. На миг Петр Олегович завис в пустоте. И уже почти раство-

рившись в не имеющем ни цвета, ни запаха, ни температуры пространстве, он услышал как будто знакомый старческий голос, заунывно то ли поющий, то ли причитающий страшные, окончательно хоронящие его слова:

— ...где вы, леса и поля, где вы, выхлопные газы, где шорох рубля в кармане соседки-заразы? Где клетки с дикими зверями в цирке, где детки сопливые и наглые, где дырки в носках, сквозь которые видно пожухлую кожу? Где тоска? Где пьяные розы ментов под Новый год и где сам Новый год и снежинки, летящие в рот, где мужчинки подиофе с цветами на Восьмое марта, где елки, березы, ольха, где сегодня, где завтра, только вчера на горизонте или за горизонтом, где двое, жмущиеся под зонтом друг к другу. Где боги или бог, он что, тоже продрог и прячется? Где скрип разъеденных солью сапог по снегу, где корячатся на стройках азиаты-рабы, где уроды, инвалиды, где гробы, где празднующие победу и потерпевшие поражение, где мнения, сомнения, споры до посинения, где воля и зубная боль, где, где, где, где это всё?!

Это было последнее, что он услышал. После звуки смолкли, и вместе с ними смолк и потух весь мир.

Петр Олегович вынырнул из сна, словно из горячей, окутанной паром ванны. Несколько секунд он, ничего не соображая, стоял на четвереньках, мотал головой и пытался отдышаться и унять подступившую к губам и носу блевоту. Кашлял. Отплевывался. Потом он услышал провоцирующий еще большую тошноту голос жены:

– Петя, Петенька, что с тобой, Петюнчик, что, что, что?

«Тоска и блевота, блевота и тоска», – неожиданно всплыли в голове слова из только что пережитого сна, и он окончательно проснулся. Над ним нависала раздавшаяся вширь Катька с неестественно выпирающими из короткой тушки огромными дойками, широченными бедрами и раздутыми дебелими руками школьной поварихи. Весь этот пир плоти был упакован в кокетливую розовую ночнушку с бантиком в районе вымени и бежевым кружевным ромбиком пониже места, которое теоретически должно было зваться талией. Как кремовая розочка на вершине торта, нависшее тело венчала голова с раздутыми ботоксными губищами, морщинами у носа и добрыми, но глупыми воловьими глазами. «Тоска и блевота, блевота и тоска», – еще раз подумал Петр Олегович, осторожно пытаясь выползти из-под жены. Не вышло. Катька рухнула ему на пузо и принялась рыдать, пачкая живот тягучими соплями и слюной.

– Я так испугалась, я хотела «Скорую» вызывать. Ты так кричал, так плакал. За письку хватался, стонал. Петенька, что с тобой, что это бы-ы-ы-ло-о-о-о?..

Жена ерзала вокруг пупка, ненароком стремясь продвигаться ниже. Возможный утренний минет сквозь Катькины слезы и сопли поначалу показался Петру Олеговичу интересным, но, когда задравшаяся ночнушка обнажила ее необъятный целлюлитный круп, интерес пропал.

– Бедненький, – причитала тем временем Катька, стягивая с него трусы, – испугался, маленький, сон плохой мальчику привиделся, за писюн малыш схватился в страхе. Не бойся, сейчас писюн пойдет в писькин домик. Дом тепленький, хорошенький, уютненький, иди сюда маленький.

«Писькин домик! – внутренне застонал Петр Олегович. – О, господи! Писькин домик. Убейте меня, боги. Яду мне, яду». Катька с института была девкой темпераментной. Это дело любила больше всего на свете. Похотливая, добрая, глупая самка. В принципе, лучший спутник жизни любого мужчины. Идеальная жена. Похотливая – не заскучаешь, добрая – кровь пить не будет, глупая – это тоже хорошо. Не поймет никогда, дурочка, что у других мужиков в штанах тоже кое-что болтается. Обожествлять будет доставшееся ей хозяйство и его носителя. Да и левачить можно при доброй и глупой жене сколько угодно. Одни плюсы. Желательно, конечно, чтобы еще и красивая была. Но красоту вполне себе может заменить папа со связями. Не бывает, чтобы все в жи-

лу. Примерно так рассуждал Петр Олегович тридцать лет назад. С годами, однако, выяснилось, что разумная схема имеет изъяны. Все плюсы минусами обернулись. Похотливая? В 51 год, с жирным целлюлитным телом? С короткими ножками-сардельками и необъятной задницей? Нет, спасибо, уж лучше бы фригидная была. Добрая? А зачем ему добрая? Он злой, мир злой, все злые, а она, видите ли, добрая. Это чтобы он себя еще большей сволочью на ее фоне чувствовал, или для чего? Его в последнее время вообще на стерв потянуло, и желательно, чтобы они его ненавидели. Давали и ненавидели, а все равно давали. Вот это удовольствие для понимающих людей. А с добрыми пускай быдло развлекается. И наконец, глупая. Глупость бесила больше всего, пятидесятилетняя бабушка с повадками и умственным развитием старшеклассницы. Это ни в какие ворота не лезет. Это до греха может довести, до мыслей об убийстве. Придушил бы он ее давно, живьем бы в муравейник закопал, чтобы мучилась тварь долго перед смертью. Но нельзя. Ее папа знал в молодости Путина. Никак нельзя. Спасибо национальному лидеру. И здесь от греха отвел. Если бы не он... «Карьеристу нужно жениться на фригидной умной вредине», – частенько говорил он подростшему сыну выстраданную правду. Сын не слушал, зачем ему фригидная и умная, когда карьера и так, чуть ли не автоматом, обеспечена. Папа на несколько поколений вперед настрадался.

Петр Олегович лежал безвольно, обреченно смотрел, как

жена стягивает с него трусы, и не мог пошевелиться. Ужасный сон лишил организм всякого иммунитета, сопротивляемость была на нуле, в голове кружились тоскливые мысли. «Ну, зачем, зачем бабам дан этот возраст дурацкий, от сорока до шестидесяти? – чуть не плача думал он, глядя на маячившую перед ним Катькину задницу. – Ведь позор один. Хорохорятся, сиськи вставляют, кремами мажутся, жопу на уши натягивают, а все равно – позор. Нет чтобы сразу в сорок повязать на пожухлые головки старушечьи платочки и сесть чинно, благородно на завалинку семечки лузгать. Или внуков там нянчить, или сериалы обсуждать. Сопротивляются, дурочки, и еще противнее становятся, еще смешнее. Мужик в пятьдесят тоже не фонтан, конечно. Но мозг, но власть, но деньги и возможности антураж создают необходимый, не смешной ни разу. А бабы – однодневные аленькие цветочки, отцветут коротким северным летом – и в гербарий к внукам, к таблеткам и болячкам нарастающим. Нет, хорохорятся, унижают своим присутствием белый свет и постели матерых самцов. Зачем они так?»

Усугубляя и подтверждая обиду, Катька задела целлюлитной ляжкой его подбородок. В нос ударил лягушачий запах грядущей женской старости и увядания. Петр Олегович чуть не блеванул. Зато кровь по жилам побежала быстрее, и апатия медленно начала соскальзывать с безвольного тела. «Путин, Путин, Путин, Путин!» – несколько раз про себя яростно повторил он, с отвращением коснулся губами кра-

юшка задницы жены, быстро натянул стаскиваемые ею трусы и мягко сказал:

– Не сейчас, Кать. Не время. Оборонный заказ под вопросом. Выполним заказ, вот тогда...

Печально и тяжело вздохнув, Катька, как недоеная буренка, обиженно промычала что-то нечленораздельное и отползла в сторону. Умываясь, Петр Олегович решил по-тихому, не завтракая, свалить на работу. Ну, невыносимо уже было видеть престарелую дуру перед глазами. Все, достаточно, хватило ее обвисших прелестей в спальне. Внезапно ему вспомнился виденный ночью сон. Мужик в красных кедах, трансформирующийся в ослепительно белого старца, и пустота на месте герба России в президентском кабинете, засасывающая его в себя. Стало страшно. «Ну, она все-таки мать моих детей, – словно оправдываясь перед сном, подумал он, помялся немного, а потом усилил аргумент до бронебойного. – И не просто мать, а еще и дочка... Дочка друга молодости Путина». По всему выходило, нужно обязательно завтракать.

Катька сидела в расшитом драконами шелковом халате и уныло жевала какие-то итальянские травки, запивая их соком из сельдерея. Ее сходство с печальной коровой стало пугающим. Петру Олеговичу нестерпимо захотелось проорать ей в тупо жующую морду, чтобы прекратила мучить свой изношенный организм. Хватит уже, не помогут никакие диеты. Пускай жрет яичницу с салом и заедает шоколадом.

Пускай опустится уже окончательно. Перестанет бороться с неизбежным и очевидным. Пусть хоть от еды удовольствие получит, а от него отстанет, исчезнет наконец из его такой яркой, не для нее предназначенной жизни. Поймав губами и затолкнув поглубже в горло рвущийся крик, Петр Олегович интеллигентно подошел к супруге, по-джентльменски поцеловал ее в проплешину на макушке и сел напротив. Нужно было объясниться. Отхлебнув несколько глотков обжигающего кофе из чашки, он понял, что готов, и хмуро пробурчал.

– Сон, сон. Сон мне приснился.

– Сон! – всплеснула руками жена. – Ох, ты, господи. Сон – это не к добру. Тебе всегда перед неприятностями сны снятся. В прошлый раз прокурорская проверка пришла. Ох, ты, господи боже мой. Что же нам делать? Сон...

«А она права, – чуть не подавился кофе Петр Олегович, – черт возьми, она права. Мне сны перед проблемами снятся. Как же я сам не догадался?» Петя не робкого десятка был человек, но сейчас труханул. В науку он верил слабо, по науке их всех уже давно расстрелять должны были, а вот в различных приметах, суевериях и вещих снах он не сомневался. Он даже допускал существование бога. Это у него в разряд суеверий входило. «Еще и сон такой дурацкий приснился, с богом как раз. И Катька сразу почувствовала. Бабы – они ведь сердцем чувят. Или чем там?»

На смену страху вернулось привычное раздражение на же-

ну. Вот зачем она про неприятности сказала? Так бы он, может, еще и внимания не обратил на связь сна и неприятностей. Прошел бы мимо беззаботно и весело. И глядишь бы, пронесло. А так... Все, поздно метаться, запрограммирован он женой на дерьмо будущее. Не специально, но запрограммирован. «У-у-у, дура старая!»

– А чего ты каркаешь? – с ненавистью спросил он ее. – Чего ты каркаешь? Докаркаешься. Никакой папа тебе не поможет! – Он помолчал немного, спохватился вовремя и добавил: – Ни мне, ни тебе.

– Да я не каркаю, Петь, я боюсь просто, я как лучше...

– Лучше никак, чем так. Молчи лучше. Все у меня хорошо. Просто работы много. Мне САМ, – Петр Олегович закатил глаза к потолку, – мне САМ сказал: «Работай, Петя, ни о чем не волнуйся, стой на страже государственных интересов, как скала». Поняла, курица безмозглая?

– Да, да, Петенька, поняла. Мне и папа говорил, любит тебя САМ.

Сердце Петра Олеговича затрепетало, как нежный зеленый листочек на ветру. К черту сны, если САМ такое сказал, то все к черту. Можно жить спокойно и планы долгосрочные строить. Может, и от Катьки удастся избавиться в будущем. Государственные интересы, они, по-любому, выше личных. Тут никакой папа ей не поможет, если в фавор войти прочно.

– Что, правда сказал? – взволнованно спросил он. – Где? Когда? При каких обстоятельствах?

– Правда, конечно, правда, – заметалась жена. – На даче они недавно чай пили. Недавно. Не помню, когда точно. Но недавно. Тогда и сказал. Не волнуйся, Петенька.

Стало понятно, что врет старая лоханка. Его утешить хочет, исправиться. Сердце перестало трепетать и забилося еще медленнее, чем до сказанных недавно дарящих надежду слов. Настроение упало ниже ноля.

– Вот и заткнись, раз правда. Думать мешаешь, – сказал Петр Олегович, опустил глаза и уткнулся в тарелку с салатом. Несколько минут ели молча. Когда он уже собирался закончить трапезу, в столовую бодро вбежала дочка.

– Хайте мазер, хайте фазер, – сказала она кривляясь и уселась за стол.

Хайте – означало здравствуйте. Псевдоуважительная производная от английского слова «Hi». По-другому она их с 15 лет не приветствовала. Сейчас ей было уже 24. Позади остались бурная юность, традиционный для их семьи МГИМО, два мужа, один ребенок и четыре с половиной аборта. Дочка, как это и принято было в ее кругу, мнила себя творческим человеком, великим дизайнером и поэтической личностью, по божьему промыслу за великие способности избавленной от забот о насущном хлебе. Родителей она открыто презирала, считая их устаревшими смешными идиотами. Основным своим предназначением в жизни она полагала вращение в высшем свете, самовыражение и опыление окружающих своими многочисленными талантами. Самым ярким и

неоспоримым проявлением ее способностей была блестящая идея декора женских прокладок под хохлому и гжель. Революционная идея захватила умы, о ней писали в модных журналах (заказуха на папенькины деньги) и даже пару раз говорили по телевизору. Разрабатывая золотую жилу, дочка додумалась украшать прокладки с внешней стороны стразами в виде царских вензелей, межконтинентальных ракет и прочей русско-советской символикой. Это возводило дизайнерские изыски в ранг актуального современного искусства. «Дура, такая же, как мать, дура, – часто думал, глядя на нее, Петр Олегович. – А амбиции высокие. Дура с амбициями, что может быть страшнее? Только дура с амбициями и деньгами, этот коктейль ужасней атомной войны будет». Он пытался несколько раз приструнить распоясавшуюся дочку, но ее очень любила жена, а главное, бабушка в ней души не чаял. Друг молодости национального лидера однажды за рюмкой чая намекнул зятю отстать от юного дарования. Петр Олегович плюнул и отстал. Так в семье появилась вторая дико раздражавшая его баба. От мелких подколов он все же удержаться не мог и в меру возможностей старался портить дочке жизнь. Настроение после «веселого» утра было поганым, появление дочурки давало замечательную возможность поправить самочувствие.

– Чему обязаны столь ранним появлением? – ехидно спросил он. – Обычно в восемь утра у вас after party в самом разгаре. Завтраки в «Пушкине» и тому подобная хрень для

возвышенных натур, гуляющих на родительские деньги. А, доченька, чему обязаны?

– Ну зачем ты так? – встряла жена. – Не надо, Петенька, она уже три дня из дома не выходит.

– Готовилась, значит, сейчас попробую угадать к чему. Папка ведь у вас Шерлок Холмс, отличается умом и сообразительностью. Да, доченька?

Доченька молча улыбалась, нагло глядя ему в глаза. Улыбка взбесила Петра Олеговича. «Скажу, все скажу, – задыхаясь от гнева, думал он, – она не Катька, она плоть моя и кровь. Скажу, имею право. Никто мне ничего не сделает». Он перестал смотреть на дочку, боясь, что не выдержит и ударит ее, повернулся к жене, развел руки и нарочито постариковски закричал:

– Ну, мать, не бином Ньютона. Я думаю все просто. Варианта три. Первый. У великого творца критические дни. Творец заперся в своей башне из слоновой кости и испытывает на себе удивительные изобретения в виде прокладок с ликом Юрия Гагарина из стразов на внешней стороне и хохломским узором на внутренней.

Жену буквально скрючило от произнесенной им фразы. При всей своей похотливости и тупости, она была искренняя и страстная ханжа. Разговоры на половые темы допускались исключительно в спальне. А тут прокладки, месячные, в столовой, за едой, еще и при дочери... Петр Олегович порадовался удачному дуплету, что двух ненавистных баб задел ра-

зом, и быстро развил успех.

– Нет, Кать, думаешь, нет? Ладно, согласен. Тогда другое. Может быть, ебая ее очередного надо к папашке на работу устроить? У меня, Кать, целый отдел из них состоит, скоро до департамента расширять придется. Сидят, ни хрена не делают, а зарплату высокую получают.

Катка закрыла лицо ладонями и начала постепенно оседать под стол. На дочку Петр Олегович не смотрел, но чувствовал, как она буравит его щеку ненавидящим взглядом. Взгляд дырки в щеке не прожигал. Наоборот, пощекотал приятным теплом. А вид старой тупой коровы на грани обморока усиливал терапевтический эффект от беседы. Петр Олегович якобы взволнованно приподнялся на стуле и потянулся в сторону жены.

– Ты чего, Кать? Да не волнуйся ты так. Нет, говоришь, нового любовничка? Ну, нет, и не надо. Ты, главное, не волнуйся. Появится. За ней не заржавеет. Все будет у нее в порядке с личной жизнью. Я и вакансии новые в отделе для ебателей приготовил. С таким папой и дедушкой она точно мужским вниманием обделена не будет. Не волнуйся. Временные трудности всего лишь. А раз временные трудности, то остается только одно. Я практически уверен. Да нет, точно уверен. Деньги! Творцу нужны деньги. Поиздержался творец в очередной раз. Так?

Он повернулся и впервые за свой монолог посмотрел на дочь. Она по-прежнему улыбалась. Только улыбка походи-

ла больше на гримасу. Презрение, ненависть и злоба были в улыбке. Не дай бог увидеть такую улыбку на лице своего ребенка. А Петр Олегович обрадовался. «Получай, получай, сука, – довольно думал он, – получай, хлебай половниками, тварь зажавшаяся. Хлебай, никакой дедушка не поможет. Я в своем праве дочь воспитываю». Они смотрели друг на друга несколько секунд, а потом дочка медленно отвела глаза, уставилась на мать и светским тоном произнесла:

– Да, мамочка. Художнику нужны деньги, такова жизнь. Ничего не поделаешь, чистое искусство живет внутри души, а наружу выбирается только по дорожкам из денежных знаков. Так что гоните сотку, родители. Выставка у меня на Винзаводе. Нужна спонсорская помощь, история вас не забудет.

– Сотку, Кать? – как и дочка, обратился Петр Олегович к жене. – А я уж испугался. Скромно. Наконец-то наша дочурка скромность проявила. Конечно, какие вопросы, дай ей сто рублей. На искусство не жалко. Даже на такое, как у нее.

– Не рублей, евро, – стиснув зубы, едва сдерживаясь, простонала дочка.

– Евро? Евро – это хуже. Ну, ничего, Кать, выдержим. Как можно для искусства сто евро пожалеть? Дай ей пять тысяч рублей. Этого с лихвой хватит.

– Сто тысяч евро, – становясь красной, прошипела дочь.

– Кать, ты это слышала? – притворно ужаснулся Петр Олегович. – Сто тысяч евро! Люди за такие деньги всю жизнь работают, дома строят, в кредиты на двадцать лет залезают,

а она на прокладки... Сто тысяч евро! Нет, ну я еще понимаю, когда хахали ее у меня в компании столько получают. Дело-то святое. Личное счастье дочуры, опять же болезни всякие случаются от недотраха. Здоровье ребенка святое дело. Но сто тысяч евро на прокладки? Не дам, обойдешься!

Несчастливая Катя сидела между мужем и дочерью, корчась от ужаса и лопаясь от боли. Страшные слова с трудом помещались в ее маленьком мозгу, раскалывали его, разрывали на мелкие ошметки. У дочки на глазах выступили слезы. Петр Олегович наслаждался ситуацией. Ничего, пускай помучаются, попляшут, они ему жизнь испортили, а он им ответочку прислал. За все надо платить. Он платит, и они пускай раскошеляются, суки.

– Мам, мне деньги к завтрашнему утру нужны, – сказала, стараясь не расплакаться, дочка. – Я зайду утром, заберу.

– Да ты еще и тупая к тому же, дочура. Я же сказал – не дам!

– А кто тебя здесь спрашивает?! – наконец сорвалась и завизжала она. – Ты кто вообще здесь такой? Чем ты от моих ебарей отличаешься? Повезло тебе просто, охмурил мать-дурочку. У меня хоть ума хватает дешево от своих хахалей отделяться, к тебе на работку непыльную, и до свидания. А ты прорвался, охмурил мамашку. Мам, чем тебя папочка охмурил? Неужели у него палочка волшебная? Расскажи, мам, мне очень интересно. Ну, так, на будущее, чтобы как ты не попасться. Не хочешь? Ладно. Тогда ты, пап, расстегни

ширинку, покажи свое чудо невиданное. Я даже сфотографирую, в качестве заставки на телефон повешу, чтобы знать, чего опасаться. Не хочешь? Тогда заткнись и не выступай, а то деду скажу. Пожалеешь!

Дочка была права. Все-все активы, все-все зарубежные счета были оформлены на жену. И на маму жены, и на сестру жены. Ему не принадлежало ничего. Доходило до смешного: чтобы купить квартиру очередной любовнице, приходилось обращаться к Катке. Тупая корова, не вникая в детали, конечно, подписывала все бумаги. Но сама ситуация унижала чрезвычайно. Умный, въедливый до зубовного скрежета тесть схему так выстроил. И не рыпнешься никуда. Нет, он, конечно, косарезил по-мелкому, а в последнее время и не по мелкому, но по гамбургскому счету... по гамбургскому счету не имел ничего. Когда-то давно Петр Олегович пытался изменить ситуацию, даже говорил пару раз с папочкой Катки о том, что это неправильно, что это крылья ему подрезает, в тряпку превращает почти что. Он пробовал даже торговаться, мол, дайте хоть двадцать процентов на себя оформить. «Ничего, ничего, – отвечал ему тесть, – злее будешь, это для дела полезно». И он был злее. И дело процветало. Двусмысленная ситуация всегда подразумевалась, но никогда не обсуждалась в открытую. В семье номинально хозяином был он. Как папа скажет, так и будет. Авторитет непрекаемый. Для жены, обожающей его тупой коровы, он и сейчас оставался авторитетом, а вот дети... Подросли когда,

быстро прочухали фишку и все важные вопросы бегали решать к деду, если с матерью по-тихому уладить не удавалось. Но вслух позорный расклад не озвучивали. До сегодняшнего дня. Сегодня дочка оборзела окончательно и вывалила на Петра Олеговича унижительную правду. Как ни странно, после того как все точки были расставлены над «i», злоба на дочь утихла. Только противно стало очень. К месту вспомнилась мысль из увиденного сна: «Тоска и блевота, блевота и тоска, вот что такое моя жизнь». Заныло сердце, перехватило дыхание. Внезапно Петру Олеговичу расхотелось жить. Зачем, для чего, в самом деле? Вошкотня одна нелепая. Уж лучше правда в пустоту и небытие, чем вошкотня такая. Приступ прошел быстро. Прежние эмоции схлынули, а новые не появились. Он тупо сидел за столом, смотрел на жену и дочку и не знал, что делать. Выручила добрая Катя. Закатив глаза и слегка посинев, она очень вовремя хлопнулась в обморок. Дочка испуганно бросилась к ней на помощь. Петр Олегович встал со стула, одернул надетый для работы пиджак, сухо откашлялся и равнодушно сказал:

– Довела мать, сука. Теперь сама разбирайся.

И неторопливо вышел из столовой.

...Ни будущего, ни прошлого, ни настоящего, ни кипящего на огне медленном, ни ползущего и ни летящего, ни золотого и ни медного, ни самого заваливающего, ни пропавшего и ни пропащего, ничего нет в пустоте, когда ты нигде. Мы летим, Пуля, мы въем волну. Кто нами рулит, в ком я тону? Пуля, лялечка моя, скажи, не молчи, что за лучи нас огибают, мы погибаем? Мы в бреду? Лекарство увело нас в царство Морфея? Мы евреи в египетском плену? Неужели правда, мы евреи? Время, как чаек разбавленный, до неразличимости, разрушает связь следствия и причинности. Ручеек течет вспять. Нас двое, или пять, или сто пятнадцать? Нам надо остаться, остановиться, присниться, на худой конец, друг другу, но нас кружит чья-то десница, она нас кружит по кругу. Память исчезла, а боль осталась, и страсть превратилась в старость, облезла гордость, только инородность, чуждость всему процветает и мотает нас по пустым за-коулкам. Как холодно здесь, Пуля, как гулко и неприкаянно. Я нечаянно услышала тут чьи-то слова: «Тоска и блевота, блевота и тоска». Это про кого, про нас? Это протокол пошлого прошлого? А может быть, это веселящий газ, и он уколошил нас, уколошил он? Скажи, Пулечка, что это сон, умоляю, скажи.

— Ом-м-м, Пульхерия. Ом. Лекарственная кома.

— А может, у нас не все дома? Может, кто-то ушел на войну и мы, сироты, наблюдаем, как роты шагают в плену у очень страшного мордоворота. Он воротит морды сучковатым колом, он голый, у него рога и копыта. В его красных глазах забыта тайна от мира, он все время орет: «Майна» и никогда: «Вира». Забивает колом солдатиков, по головам бьет и в землю. Наших с тобою, Пулечка, братиков, я немею, я внемлю ему со страхом. Он и нас забьет одним махом. Очень страшный он...

— Ом, Пульхерия. Это просто сон.

Большой черный лимузин с мигалкой на крыше – это вторичный половой признак альфа-самца. У Петра Олеговича такой был. Все как у людей, даже машина сопровождения присутствовала. Дорога до офиса корпорации на берегу Москва-реки занимала максимум полчаса. Он часто размышлял по пути на работу, почему все-таки московская знать предпочитает группироваться на отдаленной Рублевке, а не жить в центре захваченного ею города. Сосны, свежий воздух – это все ерунда, отмазка для лохов. Могли бы сосны и у Кремля посадить, и воздух можно очистить хитрыми японскими фильтрами. И дворцов понастроить можно не хуже рублевских. Терпеливые и покорные холопы все пережуют. И сосны, и фильтры, и дворцы. Тогда зачем тратить лишние полчаса на дорогу? Ответ пришел не быстро, примерно на третьем году пользования лимузином и мигалкой. В иррациональном, казалось бы, обычае имелся большой смысл. Черные стремительные лимузины вонзались в ожиревшее сердце столицы, как монгольская конница Чингисхана в свежий захваченный город. Радость, упоение своей победой и удачливостью делали конников непобедимыми. Даровала им божественный драйв и уверенность, позволяла по праву вершить судьбы покоренных народов. Пассажиры лимузинов мало чем отличались от бойцов великого

хана, за исключением одного нюанса. Конники все-таки захватывали города не каждое утро. Сегодня упоительная дорога почему-то не радовала. Какой он, к черту, конник? Жигало он опущенный, не хозяин жене своей, не властелин над детьми своими. Ну, придет он на работу, впадет в неистовство, насладится страхом иудейским в глазах трепещущих подчиненных. А в голове все равно будет звучать: жигало, жигало, жигало! Срочно требовалось подтверждение своей мужской, а главное, денежной состоятельности. Пересчитать золото, почихнуть над ним, просмотреть приятно греющие руки банковские выписки, пропитаться мистическими токами, исходящими от денег, вот какое лекарство сейчас ему было необходимо. Он вытащил телефон, нашел в записной книжке странную аббревиатуру МАГАДАНДР и надавил на нее пальцем.

– Здравствуйте, Петр Олегович, – мгновенно раздался в динамике подрагивающий от уважения голос. – Как я рад вас слышать. А видеть вас я был бы еще больше рад. Давно вас жду. Заждался. Забыли вы нас совсем. А мы так ждем. А вы нас забыли, а мы...

Петр Олегович намеренно молчал. Абонент на другом конце линии совсем сдулся, но продолжал выдавливать из себя ничего не значащие местоимения.

– А мы... а вы... нас... я...

Раболепство собеседника обычного удовольствия почему-то не принесло. Несколько секунд он ожидал привычного

кайфа, но, так и не дождавшись, отрывисто, не здороваясь, пробурчал:

– Через десять минут у тебя.

– Но я не в офисе, Петр Олегович, извините меня, пожалуйста. Хотя бы сорок ми...

Пассажир лимузина резко оборвал разговор. Загадочная аббревиатура МАГАДАНДР прощально мигнула и погасла. Сокращение означало «Магаданпромбанк Андрей»¹.

С банкиром Андрюшей Куличиком он сблизился на почве общей страсти к вертолетам фирмы Robinson. Ушлый парнишка содержал нечто вроде небольшого аэродрома на Новой Риге. Через пару месяцев дружеского, непринужденного общения Петр Олегович догадался, что Андрюшка, в принципе, ненавидит полеты. А аэродром завел исключительно для привлечения состоятельных клиентов со связями. Тогда он присмотрелся к банкиру повнимательнее. Чем-то он ему самого себя в молодости напомнил. Еще через годик Петр Олегович стал осторожно подключать банк Андрея к некоторым побочным откатным темам. Банчок был не то чтобы большим, но в этом и состояла его главная прелесть. Кто подумает, что сам великий и ужасный дядюшка ПО снизойдет со своих высот до такой ничтожности и будет мыть государственные миллиарды в каком-то Магаданпромбанке? А и не надо было ему, чтобы кто-то так подумал. Разность весовых кате-

¹ Подробнее о данном персонаже можно прочесть в романе А. Староверова «Бабля. Книга о бабле и Боге».

горий с Андрюшей привносила в скучный процесс распила бюджетных денег нотку забавного абсурда. Голубоглазый и статный блондин банкир боялся его, как наивные островные туземцы белого человека с огненной водой и палкой, сметающей молнии. И обожествлял его примерно так же. Поэтому туземцу – стеклянные бусы, чтобы на жизнь хватало да крышу над умной головой, не протекающую до времени, а тот в благодарность, не морщась, был готов окунуться в потоки полулегального и нелегального дерьма, волшебным образом конвертируемого в золото. Ну и сидеть, если что, ему. Надо только вовремя слить умного, симпатичного, но такого наивного парнишку-банкира. Все, что тайком косорезилось от въедливого тестя, проходило через Магаданпромбанк. И в последнее время проходило все больше и больше. Лимузин Петра Олеговича доехал до банка, как и планировалось, за десять минут. Шлагбаум во внутренний двор почему-то не торопился подниматься. Из хлипкой будки вышел помятый охранник, одетый в форму не то опереточного фашиста, не то прислужника лорда Дарт Вейдера из «Звездных войн».

– А на вас пропуска нет, – сказал охранник, опасливо косясь на мигалку, – надо, того, позвонить.

Ребята из машины сопровождения рванулись было к глупому разряженному петуху, но Петр Олегович остановил их жестом. Ситуация его забавляла.

– Надо, так позвоним, – весело сказал он. – Мы люди скромные и культурные. Доложи руководству номер маши-

ны. Иди, звони, хозяин ждет меня.

– Андрей Маратович? Куличик? Так он еще в банк не подъехал.

– А чего, он у вас тут один работает, и швец, и жнец, и на дуде игрец? Заместителю позвони или кто у вас там есть...

Охранник ушел в будку звонить. Через минуту он, осторожно ступая, выдвинулся из будки и виновато сказал:

– Извините меня, пожалуйста, но на стоянку нельзя. Не велено на стоянку. Это для руководства стоянка. А в банк проходите. Велено пропустить. Уж извините, пожалуйста, велено так.

Первой мыслью Петра Олеговича было развернуться и уехать. И потом не отвечать на звонки Андрея дня три. А потом ответить и коротко послать на хер. А потом снова не отвечать. В другой день он бы уехал не задумываясь, но сегодня, после странного ночного сна, не захотел. Жалко ему стало Андрюшу-банкира. Ведь окочуриться может реально от страха. Инфаркт хватанет, и привет. У молодых да ранних это сейчас быстро. Подумаешь, заместитель у Андрюши тупой попался, новенький, наверно, пастуха не признал от неопытности. «Ну, забавная же ситуация, – сам себя отмазывая от непонятно откуда взявшейся жалости, думал Петр Олегович. – Веселая ситуация. Выйду, развлекусь. Как раз то, что мне надо после дурацких снов и семейных разборок. Не из жалости я, не от слабости, просто ситуация забавная...» Чтобы ситуация стала совсем забавной, он выгнал

водителя из машины, взял у него ключи и, оставив лимузин перегородившим въезд на стоянку, один, без охраны, простой и демократичный, как Ленин в восемнадцатом году, отправился в банк. В приемной Андрюши его испуганно встретила кукольная секретарша с невероятной длины нижними конечностями.

– Ой! – придурковато воскликнула она. – А Андрея Маратовича нет, не предупреждал он о вашем приезде.

В ее глазах читалась детская обида, что же это шеф, козел, не сказал о приезде дорогого гостя, она даже подмыться не успела. Была когда-то у Петра Олеговича с ней проходная, ничем не выдающаяся ночка, после которой Светочка или Ниночка, он не помнил, как ее зовут, получила стандартную безделушку от «Тиффани». Несоразмерность усилий и вознаграждения так поразила юный, не раскрывшийся еще, наподобие бутона, мозг, что девушка даже пыталась аккуратно преследовать его. Слала фривольные эсэмэски и однажды подкараулила у офиса. Ей хотелось еще «Тиффани». Она со слезами на красивых глазах объяснилась ему в любви, а он совершенно без слез и хмуро объяснил Андрюше, что надо бы утихомирить амбиции зарвавшейся сотрудницы. Андрей утихомирил. Но каждый раз, когда Петр Олегович появлялся в банке, девушка смотрела на него с неизбывной тоской, как на Эдемский сад, утерятный безвозвратно и навсегда.

– Вот паршивец, – вздохнул Петр Олегович, – не предупредил, значит. А я думал, ты меня ждешь здесь, за своей

красивой стойкой, в красивом нижнем белье, накрашенная, надушенная, а он не предупредил...

– Простите, извините, но он правда не предупредил. – Глаза секретарши вспыхнули надеждой. – Я быстро, я мигом, у нас и переговорная есть свободная. Там стол большой и диван. Я мигом, пять минут буквально. Чай, кофе, все принесу, все сделаю...

Встретить банкира, пяля его секретаршу, которую и тот наверняка потягивал, было бы оригинально. По-ковбойски, что ли. В стиле лихих конников великого Чингисхана. Излечить это могло от утренней прививки комплекса мужской неполноценности. Но вместо закономерного возбуждения Петра Олеговича накрыла апатия. «Да что же это такое, – думал он обреченно, – старые самки пошлы и отвратительны, молодые самки пошлы и глупы и тоже отвратительны. В пидорасы, что ли, теперь податься? Но они предельно пошлы и отвратительны. Все, все кругом уроды. И я урод. А тогда зачем все? Воистину тоска и блевота, блевота и тоска». В поисках точки опоры он оглянулся по сторонам. На стене висел подарочный календарь Магаданпромбанка, стилизованный под столондаровую купюру. Вид поджавшего губы президента Франклина привел нервную систему в равновесие, а слоган, написанный под его портретом, окончательно разве-селил. «Магадан – историческая родина денег» – гласил слоган. Петр Олегович представил, как грустные баксы по всему миру собираются в кучки. Перешептываются близнецы

Франклины с поджатыми губами и решают, что пора. Пора! Момент настал. Нужно возвращаться на историческую родину. В Магадан. И течет ручеек баксов через все границы, и сливается в полноводную зеленую реку. И поют захмелевшие от счастья доллары знаменитую песню «Еду в Магадан. В Магадан ...ля». Воображаемая картина была до того нелепой, что он не выдержал и рассмеялся.

– In money veritas, – сказал, хохоча и кивая в сторону календаря. И перевел на русский для непонимающего кукольного создания за стойкой: – Истина в деньгах. Ну а девушки... а девушки потом. Ты вот что, кофе мне принеси, разрешаю. А все остальное после. И позови мне какого-нибудь начальника, ответственного за пропускной режим. Хочу посмотреть в глаза смельчаку, который машину мою на стоянку не пустил.

Начальник нарисовался через три минуты. Вошел в переговорную, молодцевато выпятив пузцо, упакованное в мышиного цвета пиджак, встал по стойке «смирно», по-военному на одной ноте, представился и попросил прощения.

– Станислав Николаевич Фурченко, заместитель председателя правления по безопасности, извините меня ради бога, был не в курсе, совершил ужасную ошибку, готов понести заслуженное наказание!

Петр Олегович умилился. Ведь когда-то, не так давно, и сам шестерил у зажавшихся банкиров. И во фрунт вытягивался перед ними, и в глаза преданно заглядывал. «Эх, бе-

долага, – подумал он жалостливо. – Не повезло тебе в жизни. Унижаешься за копейки. Ну, ничего, сейчас мы здесь шоу устроим. Отомстим за все ненавистным эксплуататорам-кровососам. Не переживай». Он ласково посмотрел на безопасника и участливо спросил:

- В каком полку служили?
- «Детский мир» на Лубянке. Полковник в отставке.
- Что же ты, коллега, своих не узнаешь?
- Виноват, товарищ э-э... – Полковник замялся и вопросительно глянул на собеседника. – Товарищ э-э... генерал?

Петр Олегович благосклонно кивнул, пускай будет генерал.

- Виноват, товарищ генерал, промашка вышла. Готов понести заслуженное наказание!

– Чего ты заладил, наказание, наказание. Садись, давай лучше кофейку попьем, боевых товарищей вспомним, садись.

Полковник присел на краешек стула, и они постепенно разговорились. И общих знакомых нашли, и похохатывать стали. И вообще понравились друг другу. Петру Олеговичу приятно было встретить неудачливого коллегу из корпорации и вот так запросто с ним посидеть. Никаких чинов, просто одному повезло больше, другому меньше. Все бывает в жизни. Главное, людьми оставаться. Помнить о боевом нерушимом братстве рыцарей плаща и кинжала. Только в самой глубине сознания у обоих мигала противным красным све-

том бегущая строка: «Чушь! Чушь! Чушь это все полная! Нет никакого боевого братства, а есть волчара опытный и сильный, урвавший от жизни солидный кусок, а есть послабее, и кусочек у него в хиленьких клыках поменьше. И завидует один другому и боится. Но скрывает тщательно зависть и страх, а другой делает вид, что не замечает ничего. Потому что приятно, приятно, черт возьми, людьми себя чувствовать, а не волками. Пожить хоть несколько минут в благородной черно-белой графике, навеянной легендарным сериалом о Штирлице. Очеловечить, подогреть немного свою и собеседника волчью жизнь». На пике взаимной теплоты и расположения полковник осторожно спросил:

- А может, уберете свою машину от шлагбаума? Сотрудники выехать не могут, и у инкассаторов проблемы.
- А может, не уберу?
- А может, и не уберете, – философски согласился полковник. Понял, что лишку хватил.

На этих словах в переговорную ворвался красный и потный банкир Андрюша:

- Петр Олегович, извините меня, пожалуйста, – выпалил он, задыхаясь. – Я почти взлетел, за мной три машины гаишных гнались. Переехал все сплошные по пути, чуть в аварию не попал. Но пробки. Водитель до сих пор с ментами разбирается. На метро добирался, представляете? Машину бросил. Простите, но вы так неожиданно. В метро связь плохая, я не предупредил сотрудников, не получилось дозвониться.

Простите. А ты что же, Стасик, – обратился он к безопаснику, – такого человека на стоянку не пустил. Совсем нух потерял? Оштрафую, уволю на хрен. Петр Олегович, он хоть прощения у вас попросил, дуболом старый?

– Попросил. Ты на него не ругайся, он мужик хороший. Коллега мой бывший.

– Конечно, хороший, мы плохих не держим. Но вы все равно меня простите и его тоже. С меня ящик «Хеннеси ХО», в компенсацию, так сказать, морального ущерба.

– Не надо, Андрюш, ящик, вы лучше машину запаркуйте. – Петр Олегович небрежно бросил ключи от лимузина на стол.

– Да, да, конечно. Какие вопросы. Ты слышал, Стасик? Одна нога здесь, другая там. И чтобы сам, сам лично машину запарковал.

Полковник вскочил и, как футболист на мяч, рванулся к ключам. Петр Олегович в последний момент выхватил у него брелок из-под руки. Взглянул тяжело на банкира и тихо сказал:

– Ты не понял, Андрейка. Станислав Николаевич парковать машину не будет. Твой косяк, ты и паркуй. Сам, сам, сам. Лично, лично, лично.

Банкир подавился вздохом. Как рыба, выброшенная на берег, он открывал рот, недоуменно вертел головой и шевелил губами. Испуганный, вытянувшийся в струнку полковник ошалело таращил глаза на невиданное унижение свое-

го молодого грозного начальника. Андрей продышался, побледнел и протянул руку к ключам. Потом отдернул. Потом снова протянул. Было видно, как он борется с собой, ненавидит старшего партнера, пугается, пытается скрыть ненависть и от страха, от унижения своего ненавидит еще больше. И опять боится, и снова ненавидит. Наконец он взял себя в руки, изогнулся угодливо, принял позу покорности и забрал ключи.

– Да, конечно. Мой косяк, я и запаркую, – сказал, сглотив слюну. – Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. – И хохотнул неловко. Посмотрел увлажнившимися глазами на Петра Олеговича, развернулся медленно и побрел к выходу. У самой двери он резко обернулся и даже сделал шаг по направлению к столу... но остановился на полшаге, постоял, кашлянул, сказал хрипло высушенным голосом:

– Я только хотел еще раз попросить прощения. Вы абсолютно правы. Мой косяк. Спасибо за урок. Я мигом.

Закончив говорить, банкир зашелся в приступе кашля, отплевался в кулак и выбежал из переговорной. Петр Олегович поднял глаза на стоящего по стойке «смирно» полковника, поковырялся ногтем в зубах и жестко, акцентируя глухие согласные «т» и «к», сказал:

– Вот так вот, Стасик. Вот так!

Банкир вернулся меньше чем через пять минут, аккуратно положил ключи от лимузина на стол и, стараясь сдержать сбившиеся дыхание, отчитался:

– Запарковал. В лучшем виде, прямо перед входом. Ни одной царапинки, не беспокойтесь, как жену в постельку уложил.

Петр Олегович представил, как несется он по многолюдным коридорам банка мимо изумленных сотрудников, выбегает из дверей, бежит на стоянку, садится в лимузин с мигалкой, путается в незнакомых кнопках и рычажках. Дрожащими руками, боясь нажать что-нибудь не то, хватается руль, судорожно трогается и едет на свободное место. А еще путь обратно предстоит. Мимо обалдевших охранников, мимо трепещущих девочек на ресепшен, мимо последней зачуханной операционистки. Мимо всех. Как у Бродского почти в «Пилигримах»: «Мимо ристалищ, капищ...» Вот такое нынче ристалище, вот такие сейчас пилигримы. Опошлилось все. Получило свою цену. И аккуратно лежит на полках глобального супермаркета, не оставляя никаких иллюзий. От философских мыслей отвлек безопасник Станислав Николаевич.

– Можно выйти? – стараясь ни на кого не глядеть, по-детски подняв руку, спросил он.

Андрей молчал. Да и не к нему безопасник обращался. Всем было очевидно, кто сегодня в переговорной альфа-самец. «Волшебное, волшебное чувство, – ловил кайф Петр Олегович. – Вот зачем деньги и власть нужны. Вот для чего». Унижение в спальне и за завтраком почти рассосалось, ночной сон казался забавным голливудским ужасиком. В горле запершило, по телу разлилась благодать.

– Иди, – царственно, как ему показалось, ответил он. – Иди, Станислав Николаевич, Андрей тебя ругать не будет, я прослежу. Еще и премию выпишет в размере месячного оклада за неукоснительное соблюдение пропускного режима. Ведь выпишешь же?

– Конечно, – процедил сквозь зубы банкир, – исполнительность надо поощрять.

Безопасник бочком, опустив голову, вышел. Петр Олегович решил немного смягчить ситуацию. Кнут, унижения – это, безусловно, хорошо, но недостаточно и опасно для долгосрочной манипуляции разрабатываемого объекта. Так его учили на курсах переподготовки в школе КГБ. Людям надежда нужна. Унизь, избей, отними все, но оставь надежду, а лучше сам подсунь ее измученному человеку.

– Жестко, Андрюшенька? – ласково улыбаясь, спросил он банкира.

– Нет, ну что вы. Все нормально, все правильно, я же понимаю...

– Не ври, теленок, ничего ты не понимаешь. Я приехал тебе сказать, что почти согласовал твою кандидатуру на пост моего советника в концерне, а ты...

У банкира в зобу дыхание сперло от счастья. Пределом мечтаний пылкого юноши было рулить непрофильными активами конторы Петра Олеговича. Он ему сам эту мечту подарил пару лет назад, когда заметил, что Андрюша стал чрезмерно много отщипывать от их совместных операций. Забо-

лев идеей стать серым кардиналом крупного государственного оборонного холдинга, Андрей урезал свою комиссию до судорог в яйцах. Терпел ради светлого будущего, как идейные коммунисты в Гражданскую войну.

– Правда? – шепотом почему-то спросил он. – Вам удалось?

– Удалось. Одна инстанция осталась. ФСБ. Но это дело техники. Я по старым связям все улажу, хотя объективка на тебя плохая. Пишут, что жулик ты, Андрюша. Начинал с обнала, сейчас кровь сосешь из трудового народа кредитами с хитрыми оговорочками. Капитал, пишут, у тебя в банке дутый схемами мошенническими. Банкрот, пишут, ты почти что. А еще совести хватило в декабре одиннадцатого на проспект Сахарова выйти, на митинг, при таком-то бэкграунде.

– Да я не ходил, честное слово, мы с друзьями пообедать зашли, просто рядом были. Ну как рядом, метров двести, в переулках. Мимо просто проходили...

– А ты думай в другой раз, где ходить, с кем и когда. И вообще, не любят у нас в Конторе племя ваше иудейское.

– Я русский наполовину, – упавшим голосом оправдался банкир.

– Вот именно что наполовину. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Слыхал такую поговорку? Ты, Андрюш, определись, кто ты по жизни и с кем.

– Я с Россией.

– Не то.

- Я с президентом.
- Недостаточно.
- Я в команде.
- Мало.
- Я с вами, Петр Олегович! – почти прорыдал он.

Петр Олегович сделал паузу. «Ну как их не презирать, либерастов этих недоделанных? – подумал презрительно. – Ведь за три копейки продаются. За обещание трех копеек. Еще и вякают, пальцы крютят, какие они самостоятельные, как всего сами добились. А сами, а сами...»

– Вот это теплее, – сказал он вслух, и напряжение в переговорной ослабло. – Да не ссы ты так. Объективка – это ерунда. Я же сказал, улажу. Меня другое беспокоит, рановато тебе еще большими делами заниматься. Не можешь ты с людьми работать.

– Почему не могу? Я могу, у меня коллектив большой, несколько тысяч...

– Несколько тысяч телок недоеных. Молодец, справился, гений менеджмента. Ты зачем людей попусту унижаешь?

– Кого?

– Да вот хоть безопасника. Он работу свою выполнял. Ты ему велел никого не пускать, он и не пускал. Ты что думаешь, он от унижения свою работу лучше делать будет? Нет, Андрюшенька, хуже. Он тебя от ненависти сдаст когда-нибудь и прав будет. Понты перед слабыми гнуть не надо. Они тебя и так боятся. Ты перед сильными и в прогибе достоинство

попробуй сохранить. Вот это искусство. Понял?

– Понял, Петр Олегович.

– Ничего ты не понял. Ты сравни: ты его унизил, и я тебя унизил. Да, каюсь, унизил, специально, намеренно. Но ты унизил во вред, для гонора пустого. А я, потому что люблю тебя, дурака, добра желаю, человека из тебя сделать хочу. Теперь понял?

Банкир молчал. Лицо его постепенно разглаживалось, а потом на нем как отпечаток с негатива проявилась искренняя благодарность. Он понял. «Нет, все-таки я правильно в банк приехал, – любуясь парнишкой, думал Петр Олегович, – два кайфа за полчаса. За этим стоило ехать. Опустил парнишку, и он мне еще благодарен остался. И это я еще выписок не смотрел».

– Вот теперь вижу, что понял, – сказал Петр Олегович благостно. – Учись, пока я жив. Это тебе не МВА в Гарварде получать, там такого не расскажут.

– Спасибо, Петр Олегович, я все понял. Я исправлюсь, я научусь. Спасибо вам.

– Ну, будем надеяться. Ладно, Андрюш, давай теперь покалякаем о делах наших скорбных.

Банкир протянул выписки. Петр Олегович никак не мог сосредоточиться на длинных, как будто загибающихся за край листа цифрах. В голове некстати вертелась фраза из виденного накануне сна: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». «А я и вправду часть, – ду-

мал он. — Нахамил Андрюша безопаснику, взрослому семейному мужику, дедушке почти что, унизил его прилюдно, а я восстановил справедливость, ткнул щенка в его собственные какашки. Может быть, вот он, смысл моей жизни, может, я бич божий, и в этом мое призвание?» Мысль ему понравилась. Она оправдывала все — и стукачество на самоуверенных мажоров в молодости, и посадки наглых бизнесменов в казематы, и даже совместные ночи с отвратительной женой Катькой в одной постели. Жизнь воина тьмы сурова и непроглядна, как и сами воины. Ежели цветочки на лугу собирать, как потом грязной работой заниматься? А кто-то ее должен делать тем не менее, работу грязную? К тому же работа неплохо оплачивалась. Обретенный только что смысл помог наконец рассмотреть длинные цифры. За истекший месяц он стал богаче на четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать одно евро. И тридцать два цента. Пустячок, а приятно. Особенно умиляли тридцать два цента. Вот ведь буржуи недорезанные, все посчитали, до крошечки. И не такой, кстати, уж и пустячок. Миллионы все-таки, не жалкие сотни, которые он получал в Тунисе, не одинокие тысячи, которые он зарабатывал у кровососов банкиров. Миллионы! Высоко он поднялся. Взлетел орел добрый молодец, расправил крылья коршуном и парит над миром, добычу ищет. Бичом божьим, карой небесной обрушивается он на мелких вороватых людишек. Рвет им сердце и печень, пьет теплую, отравленную жадностью и эгоизмом кровь, пу-

гает мир клеточкой страшным. Миллионы радовали, а в сочетании с обретенным смыслом жизни и имиджем доброго молодца – злого коршуна радовали вдвойне. Благость разлилась по организму, чувство правильно прожитой судьбы и жизни. Не без недостатков, не без ужаса, но правильной, гармоничной во всем. За этим он сюда и приехал. За благостью. Раньше люди за ней в храм ходили, а сейчас в банк. В банк оно надежней. Вклады застрахованы, государство зорко следит за рисками, а храм, что храм? Посмотришь на обожравшихся попов – операционисты те же, только образования меньше и культуры. Вчерашний день, никакого сервиса. И неизвестно еще, есть ли вообще их бог. А если есть, то их ли он?

Петр Олегович вертел стопку выписок перед носом, как церковный служка псалтырь. Водил по бумажкам пальцем, шептал еле слышно напечатанные цифры. Миллионы радовали долго. Минут пятнадцать. Пока он о миллиардах, записанных на жену и ее родственников, не вспомнил. «Господи, боже мой! – внутренне возмутился он. – Да что такое мои миллионы по сравнению с их сокровищами? Песчинка мелкая на дне морском. Как комиссия за отмыв для Андрюши. Я вообще для них, как Андрюшка. Используют они меня так же и сольют в отстой в конце концов. Наверное, и называют между собой похоже. Ласково-пренебрежительно: как там наш Петюнька, все каштаны из огня таскает, дурачок?» Петр Олегович резко кинул бумаги на стол и зло посмотрел

сквозь банкира на далеких ненавистных родственников. Воображаемая семья во главе с тестем показывала ему языки и корчила глумливые, противные рожи. Андрей испугался страшного взгляда и затрепетал.

– Что, что не так? – приподнявшись со стула, спросил он. – Не может быть, чтобы ошибка. Я лично проверял, лично...

Петр Олегович с недоумением посмотрел на банкира и... И внезапно понял. Все, все они, все, кого он знал, – часть этой силы, что вечно хочет зла, а делает... а неизвестно что делает. Все абсолютно. И он, и Андрюша, и безопасник, и тесть, и жена, и дочка. Вообще все. Все работают у миллионоручкого властелина бичами божьими и хлещут друг друга до мяса, до костей, до вен перерубленных. Нет безвинно виноватых. Заслужили. Он опустил Андрюшу, Андрюша безопасника. Безопасник оторвется на подчиненных, те на женах и детишках малых. А дети виноваты уже одним тем, что на свет этот, иронично называемый шутниками белым, появились. Какой он, к черту, белый – черный, с кровавыми потеками в лучшем случае. Все думают, что причина их бед и несчастий верхний, восседающий над ними и погоняющий их урод. А причина не верхний, нет здесь верхних. Круг это, прочный и непонятно где замкнутый круг. Ни верхних, ни нижних, только предстоящие и последующие. Равенство в принципе, но без всяких следов братства. Для него предстоящий тесть. «А для тестя? – внутренне дрожа от близости

к истине, подумал Петр Олегович. – А для тестя... для тестя САМ. А кто же тогда для САМОГО?» Вопрос был опасным, и казалось, не имел ответа. Несколько минут Петр Олегович медитировал, глядя в одну точку на лбу умирающего под его взглядом банкира, но так и не пришел ни к каким выводам. От безысходности он почти согласился с распространенным мнением, что всякая власть от бога. Просто бог так решил, что наверху должен сидеть (о, господи, куда может завести нормального человека шаловливый мозг) урод. Нужно так, чтобы быстрее все крутилось. По-другому не получается. «Неужели так? – спросил сам себя Петр Олегович и сразу ответил: – Да, наверное, так». Чудовищные, богохульные мысли прервал банкир Андрюша. Он обхватил руками голову и, истерично рыдая, прокричал:

– Простите меня Петр, Петр О-ле-е-го-о-вич, я с вас, с вас лишние двадцать, двадцать пять ты-тысяч списал. Комиссия за прогон на, на пре-де-ле. Вот я, я и спи-сал. А вам не, не ска-зал. Простите... И на ми-ми ми-тинге я был. Со-со соврал я вам. Простите. Я я больше не буду-у-у-у-у...

Банкир выглядел ужасно. Лицо его покраснело. Из носа текли слюны. Даже жалко его стало. Петр Олегович попытался заглянуть успокаивающе ему в глаза, ободрить парнишку немного. Не получилось, он продолжал захлебываться от рыданий. В потемневших, антрацитовых на сером, зрачках Андрея Петр Олегович увидел себя. Отражение ему не понравилось. Из глаз банкира на него смотрел брезгливый, неумо-

лимый и беспощадный верхний. Верхний был прав во всем уже потому, что он был выше, верхний смотрел на нижнего с презрением, видел его насквозь, все кишочки и грешочки его, всю ничтожность, жадность и неумение оценить перспективу. Верхний был зол и страшен. «Но я же не такой, – удивился Петр Олегович. – Почему он так меня воспринимает? Я утешить его хотел...» И в этот момент он понял окончательную, финальную правду – круг замкнутый внутри человека находится. И верхний там есть, и нижний. Внутри. Середины только нет. Нормального человека нет. Только верхний, который все время бичом сечет нижнего и заставляет сечь окружающих от ужаса и беспросветности. А еще он понял, кто для САМОГО президента всяя Руси является верхним. Все они, кто внизу, все вплоть до последнего алкаша-работяги, для него верхние. Хреновый ему народ попался, вороватый, терпеливый, буйный редко. Настойчиво требующий сильной руки, зубы скалящий от ласки. Народ-мазохист, который порет сам себя. Воет от боли и порет. Сидит САМ в кремлевской башне, слышит стон над огромной страшной и понимает, что сделать ничегошеньки не может. Только пороть мазохистов или делать вид, что порет. Чтобы думали они, что все зло в кремлевской башне сосредоточилось. Чтобы не взорвались от внутренней извращенности и безнадёги. Страдает САМ больше всех, воет от бессилия и порет сам себя. Но нравится ему это, ведь он тоже человек, тоже русский. И тоже не может понять, что все верхние и ниж-

ние внутри его живут. Поэтому и придумывает себе внешних верхних. Темный, опасный русский народ, американцев всяких с оранжевыми революциями и иные заговоры мировой закулисы.

Открывшаяся правда шокировала. Не нужна ему была правда такая, а теперь не денешься никуда. «Не я этот мир придумал, – попытался успокоиться он, – не мне его и менять. Все мы – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает то, что совершает. Против силы не попрешь».

Петр Олегович встал, подошел к Андрею, похлопал его по плечу, сказал по-доброму:

– Да не переживай ты так, Андрюша. Молодец в принципе, что правду выложил. Я ждал от тебя этого. Теперь вижу, созрел ты почти для больших дел. Вопрос с ФСБ постараюсь решить быстро. – Он пошел по направлению к выходу, но в дверях обернулся и ворчливо пробормотал: – Штраф за косяк в десятикратном размере зашлешь на мой счет в Лихтенштейне. А ФСБ, считай, у нас уже в кармане.

Банкир улыбнулся сквозь слезы, его темно-серые глаза посветлели, и из них на Петра Олеговича выплеснулось настоящее, искреннее, самой высокой пробы человеческое счастье.

Из горних высей, расплескав сиси по ветру, мы снижаемся, возвращаемся в жизнь эту. Обратная сторона света нас не приняла, обратная сторона света – это тьма. Земля – тюрьма народов, сборище уродов, тужится под нами. Каждые полторы секунды там происходят роды, появляются новые люди, шевелят ушами, вращают глазами, делая существование друг друга невыносимым. Жизнь, как почва, упруга, жизнь сочна и красива, жизнь – камуфляж для гнили, но нам хватит силы жить, хоть и потрепан наш фюзеляж. Пуля, мы снижаемся, просыпаемся. Пылью осядем на коже прохожих, просыплемся, как дождик со снегом, снова сойдем с ума и станем одним человеком, ведь нас не приняла тьма. Снижение есть унижение, хочешь жить, ползи на брюхе, неважно, юбка на тебе или брюки – ползи. Постепенно исчезают руки, и мы превращаемся, мы превращаемся... О, господи, Пуля, мы пресмыкаемся, мы гады, Пуля, мы суки, и мы возвращаемся.

– Вот за себя и говори. Ты точно сука старая и гадина, а меня не трожь. Я Пуля Молотова – отважная партизанка и разведчица – всегда ходила с гордо поднятой головой. Я никого не боюсь, ни перед кем не унижаюсь. Я знаю, как бороться с любой системой. Я, между прочим, училась на террористических курсах КГБ для освободительных движений

в борьбе за мир во всем мире. Училась и была лучшей ученицей под именем Сильвы Де Лакастенды из Никарагуа. Ой, вспомнила, Пульхерия, я же правда там училась. Вспомнила, выздоравливаю, вспомнила...

— *Разведчица-минетчица с гордо опущенной к ширинке головой. Минздрав предупреждает: сифилитическая ангина не лечится и вызывает крайне опасный гной в организме. Таким, как ты, не жить при коммунизме.*

— Вспомнила! Ты не собьешь меня, старая сволочь. Прорвало плотину, может, инсульт помог, может, бог. Неважно. Воспоминания гудят в голове, нет, в затылке они гудят. Но еще секунда, и попадут в голову, и я вспомню, вспомню себя. Голубчик, вы слышите этот гул? Голубчик, где вы? Я же знаю, это все благодаря вам. Я знала, я верила с первого мига, как вас внутри себя почувствовала, верила, что получится на этот раз, что вспомню, выздоровею. Спасибо вам, голубчик. Итак, я готова. На чем мы с вами там остановились? Ах, да, конечно, конечно ... Гагарин.

...от избытка счастья, от чувства распирающего я спотыкаюсь, отталкиваюсь от земли и лечу. Мне кажется, в космос лечу. Но нет, не в космос. Журчащие бессвязно, счастливые ручьи быстро приближаются, но тут меня подхватывает... меня подхватывает... Меня подхватывает ОН, а точнее, они... Руки. Я хорошо их запомнила: большие, в закатанных рукавах желтой рубашки, с горными хребтами тянущихся к запястьям мышц, с петляющими между скал мускулов вена-

ми, загорелые, светло-бурые, как земля, растворенная в молоке, покрытые темно-золотыми волосками червовой масти руки. Я лечу прямо в них, я ничего, кроме них, не вижу. Хозяин рук стоит спиной к блистающему апрельскому солнцу, и кажется, мне кажется, что руки растут из солнца. Солнечные руки подхватывают меня, я успеваю заметить раскрывающиеся, как тяжелые бутоны, ладони с длинными, светящимися теплым розовым светом пальцами и, словно Гагарин, взмываю вверх, к небу и солнцу. Я не вижу лица спасителя, только темное пятно и солнечный нимб вокруг большой головы.

– О, ребята, космонавтка прилетела, – говорит обладатель головы с нимбом. Парни вокруг смеются здоровым жеребьчьим смехом образцовых советских физкультурников и комсомольцев. И я смеюсь. Это же смешно, что космонавтка. ОН несет меня на удивительных, вытянутых вперед руках. Я счастлива. Как и все рядом, я по-настоящему счастлива. Потому что простой советский парень Юра Гагарин полетел в космос, потому что все не зря и будет теперь по-другому, потому что существуют на свете такие удивительные крепкие и теплые руки.

– Эй, космонавтка, – смеется несущий меня парень, – тебе не низко? Давай на Марс, повыше.

Он поднимает меня к небу и солнцу и усаживает к себе на плечо. Он сильный, этот парень с волшебными руками и солнечным нимбом. Люди, идущие рядом, подхватывают

его слова, бросают в воздух головные уборы, кричат: «Даешь Марс, даешь, дае-о-о-о-шь!» Через минуту вся улица скандирует: «Да-е-шь Марс, да-е-шь Марс! Ура-а-а-а-а!!!» А я сижу выше всех на плече простого и такого же солнечного, как Юра Гагарин, русского нашего парня и тоже кричу: «Даешь, дае-о-о-о-шь!» Мне хорошо сидеть у него на плече, не стыдно совсем, приятно даже. Костями, тазобедренными косточками сквозь упруго пружинящую девичью попу я чувствую его твердое и такое надежное плечо. Надежное плечо советского человека. Он мне как брат сейчас, все мне как братья и сестры. Он, может, капельку меньше, чем все, но все равно ничуть не стыдно. А приятно и сладко сидеть вот так. Немножко дух захватывает, словно на карусели в парке Горького. Под ложечкой немножко сосет, и щекочет в животе. Но не стыдно, не стыдно совсем. Гагарин в космосе!

– *Оттого, что дура кричит «ура», она все равно остается душой. Так и загнетса тупой коровой, даже если горло от крика сорвется. Прорвой своей, утробой почувствовала мужика и потекла, как сучки во время течки. Шлюхи всегда танцуют... всегда танцуют от печки, а в печке плавится их манда. Истекает пахучим соком, и вся эта романтическая ерунда выходит шлюхам впоследствии боком. Абортом, выкидышами, перевертышами, опарышами на гниющем теле. Дура ты, Пуля. Что ты наделала? Что ты сделала? Ла-ла. Ла-ла...*

– Не волнуйтесь, голубчик. Я вижу, вам крайне неприят-

ны эти пошлые слова старой злобной твари. Но не нервничайте, это она от страха и зависти, что я вспомнила. Ничего... не получится у нее ничего, и ни у кого не получится отнять у меня эти полчаса счастья. Чего бы потом ни было, как бы жизнь ни обернулась, но счастье было. Голубчик, мне помирать скоро, жизнь сделана, высечена на душе кайлом железным, залапана скользкими холодными пальцами, заплевана, загажена, испоганена беспощадным временем и такими же людьми. Но полчаса, но лучик солнца апрельского и удивительные руки, несущие меня 12 апреля 1961 года по улице Горького, отнять не сможет никто, даже она. Так что не надо переживать. Послушайте лучше, что дальше было.

Его звали Игорь. Сказал, что работает мастером в цеху на электроламповом заводе. Только что институт окончил. Улыбчивый, красивый. Пригласил меня в кино. А почему бы и не сходить? Я и раньше с ребятами в кино ходила, так, чисто по-дружески. Тем более с таким красавцем. Пусть девочки обзавидуются. Мечта комсомолки, под два метра, широкоплечий, с каштановыми выющимися волосами и светло-серыми, цвета тающего на солнышке последнего весеннего снега, глазами. Почему-то страшно было смотреть ему в глаза. Стучало сердечко, и хотелось отвести взгляд. Почему-то было очень страшно, голубчик... Мы договорились встретиться на следующий день, и я побежала в общагу готовиться к экзаменам. Ночью мне приснился ОН. Он играл в волейбол на пляже в Серебряном Бору, а я с подружка-

ми стояла рядом. В плавках он выглядел еще лучше, к удивительным рукам прилагалось роскошное тело спортсмена и защитника Родины. Мы с девчонками яростно болели за него, и он нас не подводил. Раз за разом заколачивал мячи на сторону соперника. Наконец настала его очередь бить подачу. Он пошел в угол площадки, взмахнул красивой рукой и... я увидела, что вместо мяча, обхватив руками колени, в позе эмбриона над ним зависла я. Он смотрел на меня своими невозможными, почти белыми, глазами, а я висела, покачиваясь, и ждала, и душа моя уходила в пятки, и сердце трепыхалось где-то внизу живота, и сладко замирало сердце. «Если он меня ударит, – загадала я во сне, – то одно, а если поймает в свои удивительные руки, то другое». Что одно и что другое, я и сама не знала. Игорь помедлил четверть секунды, а потом звонко хлестнул меня ладонью. Я взметнулась свечкой в небо, разбила небо, больно ударилась о ледяную непроглядную темень и проснулась. Было очень обидно, от обиды я даже решила не идти ни в какое в кино. На перемене между лекциями, однако, не выдержала и, стесняясь, рассказала о видении подружкам.

– Может, это знак? – спросила я у девчонок. – Может, он не наш человек, не советский? И не надо мне с ним по кино расхаживать?

– Пулька, влюбилась, влюбилась, – весело загоготали они. – Наконец-то пал последний бастион империализма. Влюбилась Пулечка, небеса на землю рухнули. Юрка Гага-

рин проткнул ракетой небеса, и Пулька влюбилась. Ура-а-а-а!!!

– Да ну вас, дурочки, – надулась я и назло дразнящимся девчонкам решила – пойду в кино. Докажу им и себе, что нет ничего такого. И не верят советские правильные девушки-комсомолки в дурацкие сны. Пойду!

Я любила эти наивные советские черно-белые фильмы, где добро боролось со святостью, где честные, правильные парни совершали трудовые подвиги, и в этом им помогали их принципиальные бойкие подруги. А в конце на вершине только что построенного прокатного стана героини дарили друг другу целомудренный поцелуй. И герой мечтательно говорил:

– Эх, Машка, вот и еще один прокатный стан мы построили, а сколько их еще впереди?

– Вся жизнь впереди, Васенька! – отвечала ему героиня. – Любовь впереди, труд впереди, коммунизм впереди.

И они смотрели счастливыми, наполненными благородством глазами в дымчатую индустриальную даль, где вырастали новые трубы новых прокатных станков. И звучала браурная духовая, но со скрипками музыка. И появлялись на этом фоне два коротких слова – КОНЕЦ ФИЛЬМА. Я любила такое кино. Я жила в нем. Смешно сказать, но я ни секунды не сомневалась в правдивости подобных сюжетов. Это была моя жизнь, мое будущее, и я сознательно к нему готовилась. Пересматривала фильмы много раз, всегда замирала от

восторга и плакала на финальной патетической сцене. «Любовь впереди, труд впереди, коммунизм...» Как тут не заплакать? С Игорем рыдать не вышло. Где-то в середине фильма, когда устаревший главный инженер, перестраховщик Лебёдкин надсмехался над рационализаторскими предложениями молодого рабочего Петрушичкина, Игорь накрыл своей лапищей мою ладошку. Парни и раньше пытались лапать меня в темноте кинозала. Что с них взять, с несмышленишей глупых? Получали локтем под ребра и сразу осознавали свои ошибки. Мужчина все-таки агрессивное существо, а правильная советская девушка должна тащить это существо вперед, к победе коммунизма. И не за половые органы цепляясь, а за сердце большевистское и марксистско-ленинское сознание. Так, по крайней мере, героини из фильмов делали, и у них получалось. И у меня получалось. Но Игорь... он положил руку не так, как мои однокурсники, робко сопя, осторожными перебежками пальцев со своего подлокотника кресла. Нет, он накрыл мою ладонь по-другому, как право имеющий. Я не могла, не хотела спорить с этим его правом. Невозможно было спорить. Со мной начали происходить странные вещи. От его руки били электрические разряды, не сильные, но приятные. Они перескакивали на мою ладонь и поднимались выше, щекотали легонечко подмышки, обволакивали соски и стекались куда-то в район солнечного сплетения. Новое сплетение во мне образовалось, совсем не солнечное, я чувствовала, что не солнечное, а какое

— понять тогда не могла. Я перестала следить за фильмом. Черно-белые картинки на экране показались вдруг фальшивыми и смешными. Какие прокатные станы, что за рационализаторские предложения, к чему все это? Как иллюстрации к букварю. Ложь! Правда сплеталась и набухала у меня внизу живота в несолнечном сплетении. Правда была в ладони Игоря, бьющей током. О, это была страшная правда. В ней был мой серый детский дом, голод, пропитанные первой менструальной кровью трусы в 11 лет. Слова воспитательницы: «Не волнуйся, Пуля, это давалка растет». Одноклассница Манька с вечно спущенным чулочком, стоящая на коленях, уткнувшись лицом в пах однокласснику Вите. Ночные стоны соседки по общежитию Верки из-под натянутого на голову одеяла. Все, чего боялась, все, от чего бежала, было в этой правде. И все же правда оказалась прекрасной. Апокалипсис, конечно, но и срывание всех покровов в соответствии с буквальным переводом этого слова. Понимание своей собственной сути и предназначения. Из последних сил, как полупарализованная старуха, я шевельнула пальцами и медленно вытащила руку из ладони Игоря. А он даже не заметил, смотрел фильм, живо реагировал на сюжет, похихатывал. Вы понимаете, голубчик, он даже не заметил! После всего того, что было с нами... со мной... Его уверенность в себе, в своем праве трогать меня, когда захочется, окончательно раздавила меня, вернула в состояние беспомощной сироты, от которого я почти вылечилась за годы в Москве. И

когда он, смеясь над глупым инженером Лебёдкиным, обнял меня за плечи и, кажется, засунул большой палец руки под лифчик и начал больно шуровать им, я уже не сопротивлялась. Я не могла сопротивляться. Несолнечное сплетение в моем животе выросло до чудовищных размеров и поглотило меня всю. Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза.

Он проводил меня до общежития и, конечно же, долго целовал в кустах перед входом. Я знала, что так будет, я все знала наперед. Никакие слова, никакие действия не имели значения. Я отдалась ему уже. Отдалась там, в темном кинозале на фоне фильма о светлом будущем про ретрограда инженера и отважного молодого рабочего-рационализатора. И не важно, что ничего там между нами не произошло. Там главное произошло. Он власть свою показал. И мне понравилось жить под его властью. Он мир мне перевернул, и я поняла, что раньше мир стоял на голове. Все неправда, не нужна я никому со своим светлым будущим, а ему нужна. Пускай только грудь память, пускай для других еще более чудовищных и грязных вещей. Но ему нужна именно я. Мои кости, моя плоть, мои слизистые оболочки, рот, губы, маленькие пальчики на ладошках. Я ему по-честному была нужна, по самому честному и простому счету. А не так, как этим всем: учись, голосуй, активничай. Они же все знали, они жрали плоть друг друга по ночам, втыкались друг в друга и терлись. А утром шли на работу, преподавали марксизм-ленинизм, снимали идиотские фильмы про инженеров-ретроградов и

обманывали, обманывали меня, дурочку. Не нужна я им, в гробу они меня видели, а ему нужна... Игорь долго слюнявил меня в кустах, потом осмелел и, содрав лифчик, стал щипать грудь. Когда он начал больно кусать мои соски, я чуть не умерла от счастья, а когда залез мне в трусы, я пошире раздвинула ноги. На, бери! Твоя я, по-честному твоя. Как бездомная дворняга, не знавшая никогда ласки, твоя. Поманил ее скучающий прохожий, и привязалась она к нему навеки. Как облезлый котенок, подобранный на помойке. Бери, твоя! Он мог меня отыметь прямо там, в кустах. Он мог вспороть мне живот и зубами рвать мои внутренности, он мог сделать что угодно со мной. Я бы вытерпела, ни стоном, ни криком, ни шепотом не остановила бы его. Но он испугался. Вытащил из трусов окровавленные в моей девственности пальцы, спросил изумленно:

- Так ты девочка?
- Девочка, – стыдливо призналась я.
- А тогда чего же ты так... здесь ... в кустах...

Растрепанная, с расстегнутым, сползающим платьем, с текущей по ляжкам кровью я бросилась в его удивительные волшебные крепкие руки и отчаянно прорыдала.

– Я люблю тебя, Игорь, я честно тебя люблю, я все для тебя сдела-ю-ю-ю-ю-ю!

И стала целовать его сквозь рубашку, в твердый живот. А он гладил меня по голове и шептал удивленно:

- Я тоже, тоже, ну не здесь же, не здесь. Я ключи от ком-

наты завтра возьму. Завтра, завтра. Здесь нельзя, неудобно, увидит кто. Завтра...

Мне захотелось остаться навсегда жить у него в руках, прижатой к его животу. Так хорошо, так уютно и не одиноко. Невозможно представить, как от него отлипнуть. Он гладил меня по волосам, мое дыхание отражалось от его тела, возвращалось ко мне, согревая губы. Я почти заснула, но Игорь поставил меня на землю и стал неумело застегивать распахнутое платье.

– Ну, вот и отлично, вот и хорошо, – приговаривал он, поправляя платье, – вот и умница, завтра все сделаем, а сейчас иди, иди. Главное сегодня сделали, остальное ерунда, ты не бойся, все будет хорошо. Иди.

Он хлопнул меня по попе. Увидел на платье кровавой отпечаток своих пальцев. Негромко крикнул мне вслед:

– Ты только платье не стирай! Это же на всю жизнь... на всю жизнь память!

И захохотал. Смех у него был хороший. Здоровый смех образцового советского физкультурника и комсомольца.

Вот такая история, голубчик. Чего вы молчите? Шокированы? Понимаю. Я и сама в шоке. Но так бывает, голубчик, по крайней мере, со мной так было. Куда приводят мечты... не в смысле места, куда они конкретно приводят, а в смысле, что мечтать вообще вредно. Не случайно герой нашего с вами времени трусливый циник. Он не просто циник, он еще и очень боится поверить во что-либо. Правильно, так жить

легче. Идешь по жизни, вдруг облом – а я готов, свернул за угол, предательство – я так и знал, потом сам оказался гораздо мерзее, чем чудилось в самых страшных кошмарах – а я что говорил. Отряхнулся и пошел дальше, насвистывая. Веселый, трусливый циник. Эх, знала бы я тогда эту науку, может быть, жизнь по-другому сложилась бы. Но не знала, душой романтической была, высоко взлетела, да упала больно.

– *Бабы не рабы, рабы не бабы. Бабе жизнь дана не просто так, а дабы она рожала. Не для удовольствия между ног член зажала, а с высокой целью, дать жизнь следующему поколению строителей счастливой жизни. Поиск наслаждений – это лишний рудимент в жизни женщины взрослой. Пощечина божьему промыслу и Карлу Марксу. Шлюхи божий дар меняют на оргазмы. Плодят заразу заразы, а потом говорят: «Ой, он меня обманул, он был такой куртуазный, или брутальный, или грубый». Глупые коровы, дуры, набитые самооправданием. Кошки драные опошляют всё, к чему прикоснутся. Грустно, Пуля, мне так грустно, что хрустят кости и лопаются жилы. Жаль, что мы живы, жаль даже, что мы вообще жили.*

– Жаль ей, голубчик, вы только посмотрите, ей жаль. Час назад умоляла меня спасти от смерти неминуемой, ананас обещала подарить, в ногах валялась, а сейчас ей жаль. Сама ты шлюха и лицемерка. Поняла? За душонку свою мелкую трясешься, на все готова ради своего инвалидного существования, а еще смеешь меня осуждать. Заткнись, сволочь!

Не знаешь ты ничего. Я сама не знаю. Может, все хорошо у нас сложилось с Игорем? Может, прожили мы с ним долго и счастливо и умерли в один день? Ну, ладно, это я лишкухватила, я-то жива. А с другой стороны, разве не мог он раньше трагически погибнуть? Допустим, от взрыва чеченских террористов на электроламповом заводе. Проработал там сорок лет и умер у станка на боевом посту. Да, голубчик, да, утрирую. От обиды утрирую, а чего она обзывается? Шлюха, дура... Я тут душу перед вами раскрываю, а она опошляет все. И потом, действительно, даже я не помню, что дальше было, а тем более она. Чувствую, конечно, что добром эта история не кончится. Иначе не оказалась бы я в столь плачевном положении. Но ведь надежда умирает последней, правда, голубчик? Спасибо вам, дорогой, что поддерживаете меня. Без вас я бы не справилась, а с вами, с вами... Слушайте, я вспоминаю, я уже вспомнила. Слушайте меня.

На следующий день я пришла в комнату работавшего в ночную смену приятеля Игоря. Комната выглядела совершенно нежилой. Но я не заметила тогда этого. Я вообще ничего не замечала, как на заклятие шла, как на тот свет собиралась. Оделась во все чистое, на голову зачем-то повязала аккуратный старушечий платочек. Я маленькая видела, на кладбище бабулек так хоронили. Лежали они в обитых красным сатином гробах, успокоенные, красивые в белоснежных целомудренных платочках, невесты царя небесного, а не старушки. Игорь, узрев меня в таком виде, бодро, по-комсо-

мольски заржал.

— Ну, ты, мать, даешь, — сказал, сдирая платок с головы, — прям бабушка на потрапушки пришла. Ты эти предрассудки брось. Человек вон в космос летает, современнее надо быть и проще.

Он вытаскивал меня из длинных, деревенских почти юбок, а я старалась быть современнее и проще. Я сильно старалась, сама расстегивала пуговички, поджимала и выпрямляла ноги, чтобы ему удобнее было. Выгибалась, прогибалась, на глазах становилась все проще и проще, все современнее и современнее. А потом стала совсем простой, лежала голенькая, дрожащая, покоренная и ждала неотвратимого, как смерть, греха. Со времен сотворения мира лежат так испуганные девочки и понимают — кончалось детство, придушат сейчас ангела, живущего в них, красной налитой дубиной забодают, побьют больно. Он не умрет, нет, будет продолжать жить внутри калек-инвалидом с переломанными крылышками. Кашлять будет всю жизнь и плакать жалобно. Так надо. Заведено так испокон веков. Растет внутри девочек несолнечное сплетение, зовет за собой в темные и сладкие глубины, и взрывается там ослепительным удовольствием, и оборачивается новой ангельской чистой жизнью. А когда подрастет, жизнь укрепитя, круг замыкается, и все по новой идет.

Это я сейчас, голубчик, старая и мудрая стала, могу в слова девичье смятение облечь, а тогда, конечно, я так не дума-

ла. Я так чувствовала. Хотелось мне плакать, хотелось убежать, но вместо этого я открывала рот, чтобы ему было удобнее целовать меня, вместо этого я раздвигала ноги, чтобы ему удобнее было меня проткнуть. «Это честно, честно, — твердила я про себя, как молитву, — он честный, и я честная, это по-честному, честно, честно...» А потом он вошел в меня, и не вошел даже, а вставил. Вот именно, вставил. Я не знаю, как это объяснить. Вы же, голубчик, мужчина, вам сложно понять. Я вдруг догадалась, что сама по себе не имею никакого значения. Только с ним, только когда он во мне. Я вторична, как автомобиль без водителя, декорации без актера, как дом без людей. Просто нагромождение никчемной плоти. И только когда он во мне, смысл появляется. А когда нет его, то и смысла нет. Не знаю, может, я шлюха, нимфоманка. Вон старая сука Пульхерия так думает. А я думаю, что я просто женщина. Вернее, не просто. Я женщина-женщина. Женщина, какой ее задумал бог, вылепив из ребра Адама и повелев прилепиться к нему навечно, чтобы уравновесить, стабилизировать это всегда мятущееся в поисках мамонта, смысла, денег, истины и еще черт знает чего существо. Впрочем, я отвлеклась, голубчик. Существо размеренно вколачивалось в меня, не замечая моих смятений и страхов. Существо не до меня тогда было. Он свою программу выполнял. Он кончить хотел. Довести процесс до логического результата и отвалиться, довольно урча. У него получилось. Я пыталась удержать его. Пискнула тоненько:

– Постой, не уходи, погоди еще немножко.

А он засмеялся снисходительно, потрепал меня по щеке, хлопнул легонько по сиськам и сказал:

– Хорошенького понемножку. Ох и горячая ты девка, Пуля. Молодец, мне такие нравятся.

И повалился на спину, раскинув руки, и ударил меня нечаянно ладонью по горлу. Я стала целовать его ладонь, облизывать его пальцы. Потому что вот он, смысл и властелин мой, рядом лежит, дышит устало. Игорь повернулся на бок, посмотрел на меня внимательно и, видимо, все понял. В эту секунду навсегда определилась наша с ним иерархия. Он царь, а я раба верная, почти домашнее животное. Я тонула в его белесых цвета последнего весеннего снега глазах, а он тихо и серьезно спросил:

– Еще хочешь?

– Да, любимый, – ответила, – хочу.

– Это хорошо. Любишь, значит, сладкое. Тогда давай, иди вниз, поработай.

Я впала в ступор, я замерла и оледенела. Я же все-таки комсомолка, я монашкой советской мечтала быть. Я не поняла его. Хлопнула глазами и спросила недоуменно:

– Куда вниз?

– Туда вниз, дуреха, – весело рассмеялся он. – Соси давай.

Сосали только продажные, стилижные американские подстилки. Это я знала твердо. Минимально приличные девушки

ки, не говоря уже о комсомолках, лучше бы удавились, чем стали сосать. Разве Зоя Космодемьянская стала бы сосать, а Роза Люксембург, а Надежда Константиновна Крупская?

— Нет, нет... — в ужасе отшатнулась я. — Я не могу, я не буду.

— Будешь, дуреха, все будешь делать. Я тебе обещаю, и не такое будешь делать.

Игорь несильно, но ощутимо хлестнул меня по попе. Я вспомнила сон, где висела над ним волейбольным мячиком. Свершилось, произошло. Только не в небеса черные я взметнулась, а наоборот, полетела вниз и уткнулась в кисло пахнущий пах моего властелина. Вот отныне мои небеса, здесь светит мне солнышко, и место мое здесь. Я опустила голову, уронила слезинку на жесткие курчавые волосы и начала сосать.

Вы меня осуждаете, голубчик? Не осуждайте, женщина — это самое приятное и мягкое существо среди окружающей нас мерзости. Тоже, конечно, мерзость по большому счету, но мерзость нежная, смазанная тягучими соками любви и жалости, компотик такой сладенький с ядом вперемешку. Из этого компотика все люди на свет появились. Маленьким слабеньким детишкам нельзя сразу во внешнюю агрессивную среду. В компотике женском, у мамки, у няньки, у учительницы побарахтаться сначала нужно, пообвыкнуться. А вот когда подрастут, тогда можно и в мир, самым агрессивной средой становится. А еще, не осуждайте меня, голубчик,

потому что жизнь меня и без вас осудила. Посмотрите на меня, видите? Вот то-то и оно, меня даже увидеть нельзя, я как смерть Кошечева существую внутри безумной старухи, – фантома Пульхерии, а она существует в больном, пораженном инсультом теле дряхлой бабки. Про мир, в котором живет бабка, я вам даже говорить не буду. Сами все знаете. Я, голубчик, боль абстрактная, и ничего больше. То есть для вас абстрактная, а для себя я самая конкретная, нестерпимая и изуверская боль. Так что не осуждайте меня, голубчик. Жизнь моя и до встречи с Игорем зависти не вызывала, а после... а после совсем в незавидную превратилась. Хотя это как посмотреть. А давайте, голубчик, посмотрим? Хорошо? Договорились? Только не осуждайте меня, пожалейте лучше...

Понятно, что курс молодого бойца я прошла очень быстро. Грехопадение было стремительным, как затяжной прыжок с парашютом, только парашют в конце не раскрылся. Ухало сердце, замирала душа, и адреналин приятно покалывал дрожащее нутро. Не буду утомлять вас физиологическими подробностями, скажу лишь, что немецкая порноиндустрия дошла до таких изысков не раньше середины восьмидесятых. Да, голубчик, да, во все дыры. Если предельно опопшлить ситуацию. А мне даже нравилось. Безумно меня возбуждала беспощадная честность происходящего. Ну вот, представьте, читает вам кавалер любовный сонет в лунном свете, дарит вам цветочек, нежно целует в ушко, а потом об-

нажает свои гениталии, а вы свои обнажаете и тут же, после сонета и цветочков начинаете ими тереться, поскуливая от наслаждения. В этом есть какая-то ложь. Вы не находите, голубчик? Фу, отвратительно! Чего здесь может возбуждать? Стыдно. Игорь поступал со мной по-другому.

– Я хочу, чтобы ты мне делала это, – говорил он, и я делала.

– А сегодня я желаю воспользоваться той частью твоего тела.

Я послушно подставляла искомую часть, и он пользовался. Каждый день я получала простые и понятные подтверждения своей востребованности. На фоне окружающей запутанной лжи и лицемерия наши грязные отношения казались прозрачным горным родником. И я пила из этого источника большими судорожными глотками, задыхаясь от оргазмов, счастья и любви. Да, да, голубчик, любви, как бы дико это ни звучало. К сожалению, женская физиология быстро исчерпаема. Ну, куда, ну, как? Где найти еще одну узкую полость для трения? Как еще изогнуться сто пятидесятым способом? Можно ли ублажить любимого и себя новизной, когда рук всего две, пальцев десять, про непарные органы я и говорить не буду. Как писал мудрый поэт:

Дева тешит до известного предела...

...Сколь же радостней прекрасное вне тела...

Вне тела оказался действительно целый океан радостей. От физиологических упражнений Игорь перешел к психологическим экзерсисам. Он начал стремительно хаметь. Теперь, чтобы заслужить близость со своим властелином, я должна была драить полы в его комнате и отстирывать подванивавшее бельишко. Иногда этим дело и ограничивалось.

– Извини, Пулька, – говорил властелин, – устал, смена на работе была сложная.

И да, забыла сказать, голубчик, полы я драила голенькая. А если ему казалось, что я принимала недостаточно эффектные позы, он лениво бил меня по попе ремешком с армейской бляхой в виде звезды. Часто Игорь опаздывал на свидания. Я могла ждать его у памятника Маяковскому часами. Однажды не дождалась и ушла. На следующий день он избил меня, и не солдатским символическим ремнем, а своими удивительными красивыми руками.

– Сука, тварь, шлюха подзаборная! – кричал он, сидя на мне, вырывая одной рукой волосы на голове, а другой крепко сжимая шею. – Ты что о себе возомнила, тварь? Кто тебе разрешил?

– Прости, Игоречек, я не хотела, я думала, ты не придешь, я два часа тебя ждала.

– Кто тебе разрешил думать, корова тупая? Ты не для того, чтобы думать, ты обслуживать меня должна. Поняла, мокрощелка?

Он сидел на моей спине, засовывал пальцы в мой рот, рас-

тягивал губы и тянул голову назад. Уголки губ треснули, из них сочилась кровь. Едва шевеля языком, путаясь и задевая пальцы Игоря у себя во рту, я промычала:

– Я лю-блю тебя. Я боль-ше не буду. Ни-ко-гда. Я бу-ду об-слу-жи-вать.

– Давай, – сказал он, отпустил меня и лег на диван.

Мотая головой и мыча, роняя на пол кровь из порванного рта, я поползла к нему. Он долбил меня, как отбойный молоток стахановца угольный пласт. Долбил и целовал в разбитые губы. Кончая, Игорь впервые за время нашего знакомства простонал сквозь сжатые зубы:

– Я люблю тебя, сука-а-а-а-а...

Услышав эти слова, я разрыдалась, и меня накрыл такой оргазм, такой оргазм... наверное, если подключить ко мне тогда провода, Москва месяц бы жила на моем электричестве.

Через год Игорь признался, что он лейтенант КГБ, работает на Лубянке, а история про мастера лампового завода – это легенда для наивных комсомолок вроде меня. Я и раньше догадывалась, слишком он был непрост для обычного фабричного парня. Отношения наши к тому времени утряслись и вошли в спокойное, если так можно выразиться, русло. Каждый прочно занимал отведенное ему место. Свидания как таковые закончились. Игорь просто говорил мне:

– Жди на Пушкинской с восьми до одиннадцати.

Я ждала, и он приходил или не приходил, что случалось

чаще. Когда хамство достигало апогея и я, с трудом наскребая по сусекам остатки достоинства, пыталась взбрыкнуть, он выкладывал последний козырь:

– Родина, Пулька, в опасности. Государственная необходимость заставляет меня вести непростой, не всем понятный образ жизни. Ну, ты-то меня понимаешь?

Я делала вид, что понимаю, и все шло своим чередом. Как-то раз Игорь приказал ждать с девяти до одиннадцати около его дома. Я ждала. Ключей от своей комнаты он мне не доверял, объясняя это большими государственными секретами в его комод. Я ждала, я была послушной девочкой. В пять минут двенадцатого он появился из-за деревьев. Сердечко, как всегда, затрепетало от радости. «Вот хорошо, что не ушла, – похвалила я сама себя. – А то бы разминулись». И уже хотела радостно кинуться ему на шею, прикоснуться к его удивительным рукам и тяжелым распускающимся бутонам ладоней, но вдруг увидела идущую рядом с ним девушку. Оборвалось что-то внутри, нитка какая-то лопнула по самому главному, скрепляющему меня шву. Я осыпалась внутрь, но осталась стоять на месте. «Может, это просто прохожая, – пыталась уговорить я себя, – может, рядом просто идет?» Нет, девушка держала его под руку. «Тогда соседка. Соседка, он говорил, что у него молодая замужняя соседка в коммуналке объявилась». Они подошли поближе, и стало видно, что Игорь обнимает девушку за талию. «Тогда сестра, он рассказывал о сестре в Пскове, встретил ее на вокзале и

сейчас домой ведет, сюрприз мне устроить решил, познакомиться с сестренкой». Не решаясь заговорить первой, я провозжала проходившую мимо меня парочку глазами, полными ужаса и мольбы.

– Игорь, – кокетливо обратилась к моему властелину спутница. – А чего это девушка на нас так странно смотрит?

– Которая, – засуетился он, – эта?

– Эта, эта, со странными выпученными глазами. Это твоя пассия бывшая, что ли?

– Да нет, ты что, это соседская девчонка Пулька – дурочка, с головой у ней не все в порядке. Смотри, я ей сейчас конфетку дам, она обрадуется и очнется.

Он протянул мне леденец в пестром фантике, я машинально взяла, а они пошли дальше. Из раскрытой двери подъезда до меня донесся противный смех и масляные слова девицы:

– Леденец, ха-ха. А мне ты дашь леденец, ха-ха-ха? Смотри-ка, лицо у нее и впрямь разгладилось. Дурочка, а леденцы сосать любит. Ха-Ха-Ха-Ха...

Дверь в подъезд захлопнулась, голоса смолкли. Я стояла в сгущающихся майских сумерках и держала в руке конфету. Лопнувшая по самому главному шву нитка раскрыла мое нутро, и мне почудилось, что сжавшиеся от ужаса внутренности вывалятся сейчас на асфальт, смешаются с пылью, пропитают ее бурой застывшей кровью. Чтобы оттянуть катастрофу, я развернула фантик, вытащила леденец, положи-

ла в рот и стала яростно перекачивать его языком. Это что-то напомнило мне. Что-то очень знакомое и приятное. Я представила, как там, наверху, кокетливая девка так же перекачивает во рту, у себя во рту... Это же мне принадлежит по праву! Только мне! Нельзя!!! От обиды я зарыдала, завывала на всю улицу, но вдруг покраснела, размякла и оборвала вой похабным стоном. В липкой от сладкой слюны гортани стало душно и горячо, и не только там. Я плакала и текла, плакала и текла. Как последняя сука текла во время течки. Я понимала, что прощу ему все, и это прощу. Я понимала, что я очень нехорошая, и не я должна прощать, а меня. Я все про себя понимала. На следующий день Игорь, неловко путаясь, объяснил, что это не то, что я подумала, а встреча с агентом государственной важности, и что я молодец, не раскрыла его перед агентом, и что... Он еще чего-то говорил, оправдывался и нападал, а я молчала. Я боялась словом или интонацией выдать свое счастье. Нельзя ему было показывать счастье, таким, как он, нельзя. Я молчала, а сама плавилась от гордости. Я снова нужна, я снова по-простому, по-честному востребована. Он меня не бросил, не бросил!

– Ты вот что, – устав мямлить невразумительный бред, сказал Игорь, – жди меня сегодня у памятника Маяковскому с семи до десяти. Хорошо?

– Хорошо, – ответила я, не удержалась и поцеловала его в шею.

Два года, голубчик, два страшных и прекрасных года я

была под пятою моего властелина. Я узнала себя с таких сторон, с которых человек себя знать не должен. Я падала в бездну. На других парней и смотреть не могла. Что они мне могли дать? Любовь? А что такое любовь по сравнению с бездной? Я успела закончить институт и стала работать в школе, учительницей. Я даже получила малогабаритную, но зато отдельную квартиру в Кузьминках. Все радости, все события, для нормального советского человека эпохальные, проскакивали мимо. Квартира, работа, ученики и новые друзья скользили по ледяным краям бездны и тонули в темноте. Жизнь свернулась в крохотную красную точку лазерного прицела, и этой точкой был ОН. После случая у его дома другие женщины стали скучной обыденностью. Игорь даже как-то попросил у меня ключи от моей новой квартиры.

– Понимаешь, – сказал задушевно, словно собутыльнику, – дочка у соседей вымахала в телку сисятую, семнадцать уже ей. Согласная она на все, только стесняется, все-таки родители за стенкой. Дай ключи, будь человеком, а?

И я дала, я дала, голубчик. А что делать? Потерявши голову, по волосам не плачут. Бездна, ледяная и скользкая. По-своему Игорь привязался ко мне, можно сказать, полюбил. Ну, как к домашнему животному, голубчик, привязался. Ласковая, послушная теплая собачка, и трюки всякие делать умеет, и постирать, и другое. И квартира отдельная опять же. Редкий по тем временам вариант. Это сейчас бабы ради самого заваливающего члена на ушах танцевать готовы. А

тогда, несмотря на острую послевоенную нехватку самцов, старались себя блюсти. Любопытно, голубчик, но я не чувствовала себя жертвой. Все понимала про него, но еще больше понимала про себя. И в принципе была счастлива, как никогда после. Охо-хо... горе от ума, и от тела предательского, и от честности чрезмерной. Нельзя честному человеку на свете жить, лучше повеситься сразу. Так честнее будет.

На двадцатисемилетие Игоря я решила сделать ему подарок. Думаю, это стало последней каплей, окончательно определившей мою судьбу. А может, и нет, голубчик. Не знаю, да и какая теперь разница? Я готовилась, накрыла стол у себя в хрущевке, надела самое красивое платье и неумело накрашила лицо. Он пришел поздно, умеренно пьяненький, и с порога стал расстегивать ширинку. По пьяни у него всегда случался приступ стояка.

– Подожди, – сказала я. – У меня для тебя сюрприз.

Я повернулась к нему спиной, подняла платье выше пояса и встала на колени. Под платьем ничего не было.

– Выпори меня, – сказала, уткнувшись лицом в похолодевшие ладони.

Он и раньше меня поколачивал. Обычная бытовая история с минимальным эротическим подтекстом. Мужик самоутверждается, баба выворачивается. Старинный и набивший оскомину брачный ритуал. Зачем я решила вытащить на свет традиционный садомазохизм, присущий всем русским людям? Не знаю. Угодить хотелось ему сильно, придумать, под-

твердить тысячу первым способом свою востребованность. Из омута в омут нырнуть хотелось. Вроде когда падаешь без парашюта, и земля уже близко, и ужас пика достигает, но вдруг открывается люк в земле, и падаешь в него вместо ожидаемого столкновения. И ужас сменяет еще больший ужас, такой беспредельный, что оборачивается своей противоположностью, извращенным и от этого еще более острым счастьем.

Я стояла перед моим властелином на коленях, обхватив ледяными руками горящее лицо. Оголенную попу щекотал гуляющий по квартире сквозняк. Игорь не шевелился, казалось, он даже не дышал. Сколько так продолжалось, не помню. Долго, очень долго. Напряжение росло, словно неведомый пресс сдавливал секунды в крепчайший монолит, без просвета, без зазора, без продыху. Невозможно было существовать, не оставалось места для существования... Свист. Свист ремня прекратил мучение. Кожу на попе ошпарило благодатное, несущее свободу действие, и время двинулось дальше. Вакханалия началась, истерика. По-моему, я плакала, по-моему, он тоже плакал или рычал. Или это я рычала. Или молилась в экстазе, или умерли мы оба. Или воскресли?..

После, натягивая брюки, возвышаясь надо мной, помятой, в очередной раз покоренной и униженной, он небрежно сказал:

– Меня кандидатом в партию сегодня приняли.

– Поздравляю, любимый, – сказала я, обнимая его лодыжки.

Он пнул меня ногой в живот и раздраженно огрызнулся:

– Чего поздравляешь, дура, холостых в партию не берут. Указивка новая вышла.

«Сейчас скажет, что ему надо жениться, – испугалась я. – На какой-нибудь страшной дочке полковника или генерала. Для партии, для карьеры. Господи! Сделай так, чтобы он не женился или хотя бы чтобы я осталась его любовницей. Я знаю, что партийным офицерам КГБ запрещается любовница. Но сделай, в виде исключения, пожалуйста, умоляю. Я не смогу снова жить сиротой. Умоляю, сделай...»

– Что вылупилась, корова? – спросил Игорь. – Не поняла еще? Расписаться нам надо. Ты девка теплая, послушная, с квартирой. Зря я, что ли, два года тебя воспитывал.

Счастье, голубчик. Сейчас есть, когда сейчас есть, когда живешь, тогда и счастье. А без него мне никакого «сейчас» не было, без него меня самой не было. От резких, словно на американских горках, перепадов настроения я совсем растерялась. Спросила глупо:

– Так это предложение?

– Не предложение, дуреха, а приказ. Ну-ну, смотри, не обсикайся от радости. Еще начальство должно одобрить твою кандидатуру. Положено у нас так.

Я сидела у него в ногах, растрепанная, с красными следами ремня на голой попе, залитая его выделениями, и чув-

ствовала себя победительницей всех соревнований и конкурсов на свете. Смогла, сумела, вытащила выигрышный, один на миллиард, лотерейный билет. Благодарность к моему властелину чуть не разорвала меня. Я замерла, сидя на холодном полу, хлопнула ресницами, смахивая с глаз набухшие слезы, а потом прильнула к его голым ступням и стала нежно посасывать пахнущие несвежими носками пальцы.

Голубчик, миленький мой голубчик, если вы думаете, что порка была дном моего падения, то ошибаетесь. У падения нет дна, я вам уже говорила. Оно свободное, это падение. Некоторые романтики называют это состояние невесомостью. Возможно. Нет веса, нет дна, по woman, по cry. Гагарин тоже думал, что летит над землей, а он падал. Это физика, голубчик, будь она неладна, все беды в мире от нее. Но я опять отвлеклась. Через месяц, когда начальство Игоря одобрило нашу свадьбу, он пригласил своих друзей отметить нечто вроде нашей помолвки.

– Смотри, Пулька, – сказал строго, – будь с ними ласкова, нам еще вместе Родину защищать.

Я старалась, голубчик, ой, как я старалась. В субботу взяла отгул в школе, позвала девчонок-однокурсниц, и мы сутки почти кашеварили на моей маленькой кухне. Я купила дорожное платье в ЦУМе. Рано утром в воскресенье первый раз в жизни провела три часа в парикмахерской. Вышла кинозвездой с завитыми барашком волосами, стрелками на гла-

зах и наманикюренными пальчиками. Увидев меня, Игорь произнес странную фразу:

– А ты ничего, даже жалко...

– Что, что-то не так? Что жалко?

– Жениться на тебе жалко, – засмеялся он. – Такая красота должна принадлежать народу. Обзавидуются мне мужики, на части разорвут.

Я поцеловала его в щеку и, счастливая от редкого комплимента, побежала готовиться к приходу гостей. Они пришли без опоздания, шесть неприметных молодых мужичков со смазанными простыми лицами. Почему-то у всех были тонкие губы и светлые, цвета алюминия глаза. «Расстрельная команда», – нестати вспомнилась мне фраза из книжки про войну. Но я отогнала неуместную мысль. Я пыталась быть приветливой и светской. У Игоря должна быть фантастическая жена, такая же фантастическая, как и он сам. Я принесла из холодильника водку и пригласила гостей за стол. Они сели синхронно, словно строевое упражнение выполнили. Мне стало страшно, за столом повисла неловкая пауза.

– Ну, выпьем за хозяйку дома, – разрядил обстановку Игорь. – За ее золотые руки, за сердце алмазное, за доброту и ласку, которой она нас сегодня обогреет.

Я едва пригубила стопку. Водка неприятно за холодила губы.

– Э, нет, – заметил мой символический глоток Игорь, – Не надо моих товарищей обижать. Сегодня пьем до дна.

Меньше всего мне хотелось обижать его товарищей. Пятьдесят граммов провалились в желудок, немного отпустило, страх куда-то ушел, и я стала накладывать гостям салаты. Через полчаса, после пяти тостов парни уже не казались мне расстрельной командой. Обычные ребята, а что до их неприметной внешности, так ведь работа у них такая, Родину защищать. Включили музыку. Когда я танцевала с Игорем, он просительно, что было для него странно, шепнул мне на ухо:

– Потанцуй с парнями, а то они вообще без женщин озвереют.

– Конечно, конечно, Игоречек, не волнуйся, – ответила я и на следующий танец сама пригласила одного из гостей. Заиграла медленная мелодия. Парень крепко прижал меня к себе. Ничего неприличного, но мне почему-то стало неловко. Танец закончился, мы сели, выпили и опять поставили музыку. Я запомнила эту песню, она тогда только появилась, *Tombe la neige* Сальваторе Адамо. Падает снег. С тех пор я не могу смотреть на снегопады, голубчик. И зиму переносу с трудом. И цвет белый ненавижу. Второй гость танцевал наглее, пытался ущипнуть меня за попу. Я терпела, ради Игоря я терпела. Снова сели и выпили. Но отдохнуть мне долго не дали. Опять поставили любимившуюся *Tombe la neige*, и меня пригласил следующий гость. Он оказался самым наглым, сосал мокрыми губами шею, лапал за сиськи, а когда на глазах у всех засунул мне руку под юбку, я не выдержала, подбежала к стоящему спиной Игорю и закричала:

– Он меня лапал, лапал. Ты видел, он меня лапал!

Игорь медленно развернулся. Спокойно развернулся, неудивленно совсем.

– Пулечка, родная, не волнуйся, сейчас разберемся, – сказал он ласково. – Я не видел, я спиной стоял, но сейчас разберемся. Я никому свою невесту в обиду не дам.

Он гладил меня своими волшебными солнечными руками, а я плакала у него на груди, пачкая рубашку потекшей тушью. Так спокойно стало, так хорошо. Как будто он отец мне, а я девочка маленькая снова. Только не было у меня отца никогда, голубчик. Не заслужила. Игорь был. Игорь – это все, что отмерили мне щедрые небеса. Игорь – мой хозяин и повелитель.

– Я сейчас разберусь, – уверенно сказал он. – Это очень просто. Просто спросим у Николая, как у офицера спросим, как у коммуниста. И он нам просто все расскажет. Давай? Давай спросим?

– Да-вай-й-й-й... – всхлипнула я.

– Ну, вот и отлично. Коля, скажи мне, перед лицом наших товарищей скажи. Ты лапал мою невесту?

– Да ты чего, Игорек, охренел? – возмутился Коля. – Как я мог? Она же невеста твоя. Нервная она у тебя. Показалось ей.

– Не врете, – заорала я, – все видели! Зачем вы врете?! Скажите ему, вы же видели, скажите...

Гости молчали, недоуменно кривили тонкие губы и отво-

дили глаза.

– Вы видели? – после паузы похоронным голосом спросил их Игорь.

– Нет, нет, нет, – зашелестели парни. – Да разве мы бы допустили, если бы видели. Нет... нет... не видели...

Мне стало очень стыдно, я почувствовала себя сумасшедшей. Может, и правда мне показалось? Господи, ужас-то какой!

– Простите, извините, наверное, я неправильно поняла... – залепетала жалко, покрываясь бордовыми пятнами.

Игорь больно схватил меня за плечи и дернул к себе. Его лицо застыло, превратилось в светлый, белый почти гранит. Он отчетливым громким шепотом, почти не разжимая губ, прошипел:

– Что ж ты, сука, делаешь? Ты с товарищами меня поссорить хочешь? С боевыми товарищами? Ты, тварь, опозорить меня решила, да?

– Но я... но мне... показалось... Прости меня.

– Раком, сука! – рявкнул Игорь. – Быстро встала раком!

За два года он хорошо меня выдрессировал. Как собаку Павлова. Ослушаться его было немыслимо. «Ну, вот сейчас унизит меня и успокоится, – уговаривала я себя. – Тем более я и вправду виновата. Подставила его перед друзьями». Медленно, очень медленно я нагнулась и опустила голову в пол.

– Голову, тварь, подними! Посмотри в глаза моим товарищам.

Я подняла голову.

– А теперь, задрала платье и спустила трусы. Быстро, я сказал!

Остатки человеческого достоинства булькнули где-то глубоко внутри. Я замотала головой и тихо произнесла:

– Нет, нет, ты что, так нельзя. Нет.

Позы не изменила. Привычка слушаться своего властелина сковала тело. Сильно, до полуобморока, заныла спина. Пальцы похолодели и начали неметь.

– Молчать, тварь! – как Гитлер, срываясь на фальцет, закричал Игорь. Потом снизил тон и более спокойно, даже проникновенно продолжил: – Ты обидела моих друзей. Понимаешь? Ты должна искупить, загладить. Сделай это, и мы все забудем. Они никому не скажут, они настоящие офицеры...

– Нет, нет, нельзя, – в ужасе шептала я.

– А если нет, то не будет никакой свадьбы. Я не смогу, я просто не смогу на тебе жениться. Сделай, Пулечка, ради нас сделай. Мы будем с тобой долго жить, у нас детки родятся. Двое, девочка и мальчик...

– Нет, нет, неправильно, – бормотала я, зажмурив глаза.

Я просила бога, Карла Маркса, Партию, пол из линолеума, я всех просила, чтобы он остановился. Я надеялась. Я очень надеялась. Очень...

– Трусы сняла, сука! – после увещеваний снова рывкнул Игорь и ударил меня ремнем по попе. – Быстро! Кому я ска-

зал, быстро!

Удар ремня сломал меня, как будто я не человек, а хрупкая детская игрушка из тонкой пластмассы. Торопясь и пугаясь в оборках длинной юбки, я задрала платье и суетливо стянула трусы. Но я надеялась, даже с голой задницей надеялась, что он остановится. Потреплет мои волосы, прикроет голую попу, скажет: «Шутка, шутка это была, а ты и поверила, дуреха. – И даже когда он вонзался в меня, я надеялась. – Шутка, шутка, розыгрыш...»

– Музыку включите погромче, – сказал Игорь.

Он приладил меня к себе, как мастеровитый столяр громоздкий верстак. Крякнул удовлетворенно и начал РАБОТАТЬ. Туда-сюда, туда-сюда. Скупые, точно рассчитанные движения знатока своего дела. Заиграла музыка. Невероятно красивая песня на невероятно красивом французском языке оплакивала мою невероятно глупую и убогую жизнь. *Tombe*, будь оно все проклято, *la neige*...

Голубчик, я хотела честности, я получила ее сполна. Честность была передо мной, кривила тонкогубые рты и смотрела равнодушными белесыми глазами. Честность стояла позади и натягивала меня на свой честный осиновый кол. *Tombe la neige*, голубчик... Это было так честно. Меня, родившуюся в тюрьме, дочь замученных родителей, убогую сироту, обманом пробравшуюся в счастливую московскую жизнь, трахали, распинали и унижали семь бравых молодцов из ЧК.

Белоснежка и семь гномов, русский холодный вариант. И *Tombe la neige*, голубчик. Все по-честному, они трахали мою мать, они трахали меня, они и мою дочь трахать будут. Голубчик, есть те, кто трахает, а есть те, кого. Я из вторых, я тогда поняла это очень четко и поклялась, что никогда, никогда, вы слышите, голубчик, никогда не будет у меня детей. *Tombe la neige*, все по-честному. Просто падает снег и вплющивает непокрытые темечки людей в мерзлую, злую землю. Просто падает снег, и все по-честному...

Я стояла раком, уперевшись руками в стол. Передо мной в полуметре сидели гэбэшные молодцы и внимательно, словно подопытное животное, на котором ставят важный эксперимент, рассматривали меня. Некоторые курили, другие негромко обменивались мнениями.

- Хороша девка...
- Холодновата что-то.
- Ничего, сейчас раскочегарится...
- Две минуты, спорим, что две минуты, потом поплывет.
- Спорим, засекаем.
- Надо ей дойки вытащить, у нее красивые дойки.
- Если помазать сиськи, быстрее будет...

Один из молодцов протянул ко мне руку, разорвал красивое дорогое платье и схватил грудь. Начал крутить соски, словно отверткой шуруп заворачивал. Без эмоций, голая техника. Крутил и заглядывал в глаза. Поплыла, не поплыла? Меня перемкнуло. Не от его механических движений, конеч-

но. От другого. «Я же им совсем не нужна, — подумала я. — Совсем, совсем. Я для них инструмент просто, как отмычка или молоток. Сиськи и жопа на месте, и хорошо. Я и Игорю не нужна. А ведь я его люблю. Он мой властелин и повелитель, и он так спокойно, так равнодушно поделился мною. Потому что у меня есть сиськи и жопа. И они на месте. Я им не нужна, а сиськи и жопа пригодятся. Сиськи и жопа, вот мой смысл, вот мое предназначение. Боже мой, это же омут, самый глубокий и сладкий омут, в который я еще не ныряла. Но надо, надо нырнуть, там, может, дальше еще один, и еще... Как хорошо, как сладко и правильно, наконец я нашла свое место...»

- А что я говорил, потекла?
- Меньше двух минут, товарищи, я выиграл...
- Молодец, Игорь, хорошую шалаву подогнал...
- Однако пора и приступать, девка вон вся красная.
- Того и гляди, удар хватит...
- Ладно, поехали, раньше сядем, раньше выйдем.
- Поехали?
- Поехали...

Что было дальше, я помню плохо. Вот вы, голубчик, помните свои оргазмы во всех подробностях? Помните, наверно, что были. Ну максимум длинные или короткие, слабые или сильные. И все. А там был один сплошной непрерывный оргазм. Неприятная штука, скажу я вам. Выматывающая. В конце, кажется, я потеряла сознание. Когда очну-

лась, Игорь нес меня на руках по коридору и успокаивающе шептал:

– Все, все кончилось, они ушли, потерпи, сейчас легче станет...

Помню смутно, как блюю голая в ванне, а Игорь поливает меня из душа и нежно, очень нежно намыливает мое красное, в ссадинах и синяках тело. А потом мы сидели на кухне и пили водку. Он мне дал сигарету, я сильно кашляла, но все равно затягивалась, первый раз в жизни затягивалась горячим дымом.

– Скажи «А-а-а-птека», – учил он меня.

Я говорила «А-а-а-птека», и дым проникал в легкие. Загрязнял их, зато все остальное прочищал. Особенно мозг. Грязи я не боялась. Чего уж теперь...

– Скажи мне, любимый, – еле ворочая заплетающимся языком, спросила я у Игоря. – Нет, ты мне скажи, ты с самого начала задумал из меня подстилку вашу чекистскую сделать или хоть денек, хоть часок, хоть одну секундочку любил меня?

– Дура, я, между прочим, жениться на тебе хотел. Еще год назад хотел. Правда, честное слово. Пришел честь по чести к майору. Сказал, так и так, хочу жениться. Девка уж больно хорошая, покладистая, написал отчет, полагается у нас так. А меня через неделю вызывают и говорят, шлюха твоя невеста, и заключение психологов показывают. Я даже спорить пытался. Чуть взыскание не заработал. А они говорят, шлю-

ха, и все. Ты думаешь, я скотина конченная? Думаешь, я сам бабу у тебя на глазах к себе домой привел? Они сказали так сделать. Сказали, ты вытерпишь, потому что шлюха. И ключи от твоей квартиры попросить, чтобы соседку трахнуть, они сказали. Я думал, ты не выдержишь. А ты терпела и терпела, терпела и терпела, как шлюха терпела, как...

– Я любила тебя, дурака, я жила для тебя, а ты...

– Да нет, Пуль, ты просто шлюха. Нравилось тебе. Сегодня и сама поняла небось, что шлюха. Чего теперь говорить... Сама подумай, зачем мне жена шлюха?

Я подумала и сказала:

– Незачем. – И заплакала горькими пьяными блядскими слезами. И прижалась мокрой щекой к моему бывшему повелителю. А он стал гладить меня и успокаивать:

– Ну чего ты так убиваешься? Ты не виновата, ты просто родилась такой. Не виновата ты. Мне психологи сказали – это от рождения. Просто такой темперамент.

– Такой темперамент, – повторила я и снова зарыдала.

– Не переживай, это тебе еще повезло, что на меня наорвалась. Ты об этом лучше подумай. Если бы не я, все равно шлюхой бы стала, только дешевой подзаборной. Ну видела, на Трех вокзалах такие околачиваются, за стакан портвейна минет делают. Мне психологи так сказали.

– Психологи так сказали, – снова повторила я, но на этот раз не заплакала. Слез больше не осталось.

– А так Родине послужишь, – продолжил Игорь. – Роди-

не все нужны, даже шлюхи. Родина никого не забывает. Ты знаешь, какая у нас великая и добрая Родина? Ну, ты же знаешь. В ней всем место есть, даже шлюхам. Она и тебе место нашла. Спасибо надо сказать.

– Нашла, – сказала я. – Спасибо.

– Ну вот и отлично. Давай выпьем за нашу великую Родину, Пулька. И без обид.

– За Родину. Без обид, – согласилась я, выпила водки и скovyрнула пальцем засохшую сперму с губы.

Вот и все, голубчик, теперь вы знаете. Теперь я сама знаю. Права вредная старая сука Пульхерия оказалась. Я блядь. Трудно жить, но буду. Неудивительно, что сошла с ума. Но ведь зачем-то я живу, голубчик? Зачем-то мучаюсь и вспоминаю свою позорную жизнь. Значит, есть, голубчик, смысл? Ну, хотя бы надежда на смысл есть. И пока она есть, я буду жить и вспоминать. Жить и вспоминать... Эй ты, старая сука, ты слышала, что я сказала? Ты права. Я сказала, что ты права. Ты этого хотела, да? Ты за этим меня тридцать лет мучила?

– *Жизнь сложна и лажова, только жестко жевать эту жизнь, ею давятся снова и снова, выделяя из глоток слизь. Туго и тесно жить на свете, рождаются дети, а уже бляди и живут дальше Христа ради.купаются в фальши, омываются дерьмом, но это их дом. Это их божий дом, и бог хочет сделать его краше. Под призором неба живут в позоре, добывают хлеб, жуют горе. Глазами моргают, ика-*

ют страдающе, для богохульств отверзают уста. Млечный Путь загадили млекопитающие, полагающие себя венцом творения существа. Вещества почти не осталось. Жалость, Пуля, мир спасет, не красота, а жалость. Мне жалко людей, лебедей, блядей, червяков, птиц, цыплят, чистых, не чистых, чекистов, коммунистов, жуликов, святых, светлых и темных, узкоглазых, больных, здоровых, клопов, гениев, святых и грешников, насекомых мне тоже жалко, летучих голландцев, пьющих алко финнов, евреев, вечно проходящих мимо, муравьев, антилоп и цикад, львов, тех, кто прав, и тех, кто не прав. Мне жалко любого или любую. Я целую всю грязь этой земли, я и тебя, Пуля, целую. Живи. Живи. Живи.

«Верхние, нижние, нижние, верхние, а середина-то где? Есть ли она вообще, эта середина? Кто мы все, в конце концов, такие и зачем?» Невиданные мысли завелись в голове у Петра Олеговича по дороге из банка на работу. Казалось, даже лимузин возмущенно скрипел, угадывая мысли пассажира. Мигалка, казалось, кашляла в знак протеста и пару раз пыталась захлебнуться грозным воем. «И зачем, и зачем, и зачем?» Нет, не должны у пассажиров государственных лимузинов мысли такие в голове заводиться. Так далеко не уедешь. Петр Олегович и сам не был рад. Мучительно кривил губы. Пытался думать об украденных за прошлый месяц миллионах, о бесконечных нижних конечностях секретарши банкира. Не помогало. Как будто на поезде по рельсам ехал. «И зачем, и зачем, и зачем?» Ответ никак не находился, но казалось, что он близко, руку только протяни. «Только коротки у меня руки, – вдруг зло подумал он. – Мажора наглого, на беду хапнувшего заводик у государства, достать могу, а на простой вопрос ответить – нет». Он попытался успокоиться. Несколько раз глубоко вдохнул носом. «Все хорошо, все хорошо, – повторял сам себе, – деньги зарабатываются, положение в обществе прочное, я добился, чего хотел. Грех жаловаться, все хорошо. Просто... просто я расту, взрослею, мудрею. Это естественно, это правильно. Зре-

лый муж должен задумываться о вечных вопросах. Я расту просто...» Петр Олегович почти уговорил себя. Только в самой глубине организма мешало окончательному успокоению притаившееся знание: не в ту сторону он растет, ой, не в ту, вбок куда-то, кривенько, а то и в землю. А еще мешало возникшее значительно глубже противного знания придавленное, почти задушенное этим знанием странное чувство. Жалость. Петру Олеговичу было жалко. И жену свою, толстозадую глупую, но добрую корову Катьку, в девичестве Зуеву. И банкира, ушлого, умного, но такого наивного и, в сущности, неплохого паренька. И даже дочку свою, стерву избалованную, было жалко. «Это потому, что люди все вроде как получается. И даже дочка. Мучается она, страдает от борьбы верхнего с нижним внутри себя, понимает, что неправильно живет, оттого и прокладки узорами дурацкими расписывает. Вырваться пытается, как умеет, из круга порочного, да не получается у нее». Больше всего жалко было себя. Себя, такого могущественного и крутого, с одной стороны, и такого униженного и обычного – с другой. На пике неожиданно вырвавшейся на свободу жалости лимузин притормозил. Петр Олегович посмотрел в окошко. Идиота водителя зачем-то понесло на Малую Бронную. В этой гребаной старой Москве никакие мигалки не помогают. Столкнется какая-нибудь обшарпанная «Газель» с унылым «Фордом Фокусом», и все, приехали. В другой бы раз наорал Петр Олегович на водителя, а в этот раз не стал. Жалко было и водителя. Тот сам по-

нял свою ошибку, засуетился, ожидая неизбежного разноса, и промямлил:

– Сейчас, шеф, простите, сейчас, сейчас, я ребятам из охраны сказал уже. Сейчас их растолкают. Две минуты буквально.

Петр Олегович ничего не ответил и снова отвернулся к окошку. За окошком кипела жизнь. Не такая уж и плохая, между прочим. Чистенько, несмотря на морозящий мелкий осенний дождичек. Лавчонки и ресторанчики мигают красивыми вывесками. От Европы с пяти шагов не отличишь. Только лучше с витрин и вывесок взгляд не переводить. Не дай бог на людей посмотреть, особенно на лица. Не европейские они у них совсем. Хмурые, злые и темные рожи. Причем у всех, даже у киргизов с таджиками такие же, и у кавказцев, и у всех. Чернь, одним словом. Как была чернь при батюшке царе, так и осталась. «А вдруг и они люди? – ужаснулся возникшей гипотезе Петр Олегович. – Вдруг и они мучаются, страдают, а не только думают, как бы побольше жрать и поменьше работать?» К счастью, безумную гипотезу мгновенно перечеркнула практика. Пассажир лимузина опустил глаза и увидел валяющуюся под ногами прохожих грязную, бомжеватого вида старуху. Она лежала спиной к проезжей части, мелко семенила ножками и скребла грязными пальцами в обрезанных шерстяных перчатках асфальт. Люди шли мимо. Никому неохота было связываться с вонючей подыхающей бабкой. И правильно, это Москва, здесь кру-

титься надо. Время – деньги. У Петра Олеговича было столько денег, что он мог бы купить время спешащих по улице людей на десятилетия вперед, до самого их смертного часа. Но зачем ему их никчемное время? Пускай они живут себе как умеют. И слава богу, что чернь оказалась чернью, всем так легче, и им и ему. А вот старушку отчего-то было жалко. Такая же она наверняка, как спешащие по улице люди. И сама, наверно, мимо подыхающих стариков в молодости проходила. А может, не такая, может быть, человек? Лица-то он ее не видел... Да даже если и такая, даже если быдло, все равно живая душа. Жалко ему всех сегодня. Жалко...

– Вы извините меня, пожалуйста, – продолжал оправдываться испуганный водитель. – Сейчас. Ребята уже побежали, там авария впереди. Они звонили, растаскивают их уже. Я думал через Никитскую к Кремлю, на набережную и в дамки, а видите, как получилось...

– Я вижу, – раздраженно откликнулся Петр Олегович. – Я все вижу. А ты слепой, что ли? Вон, бабушка на земле валяется. Плохо человеку. А ну быстро вышел и помог. «Скоро» там вызови или чего полагается в таких случаях.

Обалдевший, не узнающий своего шефа водитель заторможенно выполз из машины, медленно пошел к старушке и недоуменно склонился над ней. Потом очнулся все-таки, позвал ребят из машины сопровождения и стал набирать номер «Скорой» на мобильном. Суета вокруг старушки нарастала. Удивленные прохожие сталкивались с крепкими ребятами

из охраны, притормаживали непонимающе и быстро образовывали толпу. На душе у Петра Олеговича посветлело. Почему-то вспомнилась история о разбойнике, распятом вместе с Христом, но пожалевшим не себя, а соседа-бедолагу. Кажется, он еще сказал что-то вроде того, что мы тут за дело, упыри, висим, а ты, братуха, без вины страдаешь. А бог ему ответил: «Истинно тебе говорю, уже сегодня подле меня в раю окажешься». «Подишь ты, – изумился притче Петр Олегович. – Ведь разбойник же, людей грабил, насиловал или чего похлеще, а в рай. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте. Фатовый у Христа сосед оказался. Не в райских куцах, конечно, дело, да и нет никакого бога, скорее всего. Но приятно, приятно, черт возьми, приятно, что после пятидесяти лет трудной и в чем-то даже позорной жизни осталось во мне человеческое. Вот старушку пожалел. Смешно звучит, а пожалел ведь. По-честному пожалел, искренне».

Прервав благостные мысли, как-то особенно неуместно и зло в машине прозвучала трель телефона правительственной связи. Петр Олегович поднял трубку. Звонил его референт из офиса.

– Здравствуйте, – сказал референт елейно. – Я звоню сообщить, что в вашем кабинете вас ждет Вячеслав Гаврилович.

– Зуев? – обреченно уточнил Петр Олегович.

– Конечно, Зуев, – решил выказать свою преданность ре-

ферент. – Никого другого я бы в кабинет не пустил. Даже Путина.

– Бля-я-я-я-я-дъ, – простонал Петр Олегович, опуская трубку на рычаг.

Приезд тестя в неурочное время и демонстративное ожидание его в кабинете ничего хорошего не сулили. В последний раз подобный демарш ненавистного родственника закончился полугодовой проверкой его корпорации Следственным комитетом. Благодать мгновенно улетучилась. О жалости он даже не вспомнил. Какая, на хрен, жалость в такой ситуации?

– Бля-я-я-я-я-дъ, – еще раз простонал Петр Олегович, открыл окошко лимузина и зарычал на скучившуюся вокруг старухи челядь: – Вы чего опухли, уроды! Совсем страх потеряли?! Чего стоим, бля, кого ждем, нах, почему не едем?

Здоровые двухметровые лбы бросились врассыпную, как стайка голубей, испугавшаяся топнувшего ногой малыша. Быстрее всех в лимузине оказался водитель. Он завел автомобиль, отдышался и, мысленно перекрестившись, взмолился к Господу: «Свят, свят, свят. Боже, что это с ним сегодня? Такие перепады. Нет уж, Господи, не надо. Он же сука. Вот и пускай будет сукой. А этого нам не надо. Не надо, Господи. Сука, она и есть сука».

Лимузин стал напоминать передвижную церковь. Господа в нем сегодня поминали все.

Вячеслав Гаврилович Зуев сидел в кресле хозяина кабинета и ковырялся любимой платиновой ручкой зятя в поросших седыми волосками ушах. Поза, ручка и месторасположение тестя были тщательно просчитаны. Все работало на единственную цель – максимально унижить зарвавшегося родственника. Ему удалось. Увидев эту мизансцену, Петр Олегович судорожно сглотнул. Со стороны могло показаться, что ком в горле сглотнул. На самом деле плескавшуюся между отвисших щек слюну. Неприятный вкус вызвал новую тошноту. Очень хотелось подойти к ненавистному кислому тестюшке и в рожу ему, в рожу, тугой желтой вонючей струей в рожу блевануть. Но есть вещи, которые делать нельзя даже очень могущественным людям. Сверхусилием удалось успокоить желудок и нервы. Даже улыбнуться удалось и поздороваться приветливо:

– Здравствуйте, Вячеслав Гаврилович. Какими судьбами, почему не предупредили? Я бы подготовился.

Тесть на приветствие не отреагировал. Продолжал сосредоточенно ковыряться ручкой в ухе. Прекратил где-то через полминуты, вытащил из папки на столе красивую бумажку с гербовой трехцветной печатью и шумно в нее высморкался. Огляделся по сторонам в поисках корзины для мусора, не нашел и нацепил комок на фотографию зятя с хмурым Путиным. «Вот и ко мне пришел мой верхний, – печально подумал Петр Олегович. – Исполняет ритуальную пляску альфа-самца перед замершим в страхе бабуином. А по-русски

говоря, опускает ффраера. Но почему так быстро? Полчаса назад я сам альфа-самцом был, а сейчас... сейчас наоборот. Господи, пожалей. Такие повороты ни одна психика не выдержит. То альфа-самец, то... забыл последнюю букву греческого алфавита. Ну, допустим, самец – мягкий знак. Мягонький такой значочек, вяленький, растекающийся по паркету из красного дерева. И чего он вообще приперся, где я накосячил? Дочка стуканула? Бабки? Бабы?»

– Ты почему на работу опаздываешь? – голосом сушеной воблы, на одной ноте, укорил его тесть.

«Сука, сука, как мальчишку, как менеджера голимого. Тварь!» – яростно подумал Петр Олегович. От ярости его снова замутило.

– Мне внучка сказала, ты три часа назад из дома выехал, – не меняя невыносимой засушенной интонации, продолжил тесть.

«А-а-а, слава богу, дочка настучала, – обрадовался Петр Олегович. – Это ничего, с этим еще можно жить»

– Я на встрече был, – сказал он важно. – На очень важной встрече. Нет, если бы вы предупредили, я перенес бы, а так...

– А чего важного может быть в Магаданпромбанке? – наконец проявил эмоцию и гаденько улыбнулся тесть. – Так себе банчишко, если честно, только для отмыва откатов и годится.

«А-а-а, – на этот раз испуганно внутренне завопил Петр Олегович, – и бабки, и бабки еще...»

– А может, ты там секретаршу какую потрахиваешь? – Улыбка тестя замерла на никем не покоренной вершине мерзости и ехидства.

«И бабы к тому же, – натурально отдавая богу душу, подумал Петр Олегович. – И дочка, и бабки, и бабы... Полный комплект. Землетрясение магнитудой сто баллов по намного меньшей шкале Рихтера. Это когда пиздец полный и нет уже дальше ничего. Один полный беспредельный и аскетичный, как смерть, пиздец!»

– Вячеслав Гаврилович, ну зачем вы так? – дрожащим от страха голосом спросил он тестя. – Вы же все наши дела знаете. Неужели за долгие годы еще какие-то сомнения остались?

– Не остались, Петя, а приумножились. Ты, Петюня, алчный говнюк с родовой травмой в виде уязвленного самолюбия. Все взбляднуть норовишь во всех смыслах. Ну ладно бабы, дело-то житейское, сам мужик, понимаю, но дочку свою единственную ты зачем обижаешь?

«Все-таки дочка. Настучала, падла. У-у-у сука, зуевское отродье...»

– Я прошу вас меня понять, Вячеслав Гаврилович, поймите меня, пожалуйста, я знаю, вы меня поймете...

Петр Олегович повторял заклинание о понимании и лихорадочно пытался придумать продолжение фразы. «Чего тут понимать? Сука она избалованная, вот и все. Нет, так нельзя. Он же ее избаловал... нельзя так. А если по-другому?

Поймите меня, я ей счастья желаю, но ее образ жизни, ее любовнички и аборты, какое тут счастье? Вся в мамочку, ту-пую похотливую корову... О, господи, куда-то не туда меня сегодня несет. Ее мамочка – это его дочка. Нельзя. Что же делать, что же делать?» Он не знал, что делать, и повторял на разные лады одно и то же.

– ...Вы меня поймите, вы же отец, вы отец и я отец, мы два отца, вы мне в отцы годитесь, отец отца всегда поймет, я верю, вы поймете меня, как отец... – Петр Олегович на секунду запнулся, а потом вдруг яростно выпалил: – Сто тысяч евро! Сто тысяч евро на прокладки! На прокладки с ликом Гагарина из стразов! Это непатриотично в конце концов, это оскорбительно! Вы как человек консервативных взглядов должны понять, это никуда не годится. Это уже не духовные скрепы, а духовные заколки какие-то получаются. Я не могу позволить аморальному интернационалу захватить мою собственную дочь, тут и до педарастии недалеко...

С каждой секундой Петр Олегович говорил все громче и увереннее. Как на трибуне выступал. Знал, что пишут компетентные органы все разговоры в кабинете. Поэтому давил на самые актуальные точки провластного дискурса. Не мог засушенный еще в советские времена тесть переть против линии партии. Его бюрократическая кишка была для этого слишком тонка. Тонка, но, как оказалось, чрезвычайно извилиста. Тесть опять взял со стола его любимую платиновую ручку, поковырялся в ухе, возвел очи к потолку, как бы ища

спрятанные микрофоны, откашлялся и медленно, весомо, в сталинском стиле, дал свой ответ хитрожопому Чемберлену.

— Я, дорогой зятек, действительно консерватор, это ты верно подметил. Я с аморальным интернационалом боролся, когда ты еще под стол пешком ходил. И духовные скрепы на шаловливые ручки диссидентов, смутьянов всяких еще при раннем Брежневе надевал. Так что ты меня за советскую власть не агитируй. Только и консерватор гибким должен быть. Время изменчивое чувствовать. Знаешь, почему случилась самая великая геополитическая катастрофа двадцатого века? Почему Советский Союз развалился? Я тебе скажу. И покаюсь даже. Потому что негибкими мы были. А сейчас научились. Другое время, зятек, а значит, и методы идеологической борьбы другие. Она же на прокладках не Микки Мауса стразами вышивает, не президента Франклина с шестиконечной звездой. Гагарина! Юрия Алексеевича. Наше все улыбочное, и узоры хохломские, и гжель, и Пушкина, и кресты православные. Да, вот такие сейчас духовные скрепы. И вот в таком месте. А ты как хотел? Раньше партбилет коммунисты у сердца носили, а сейчас вот так. Где еще русской женщине духовные скрепы прятать, куда еще ближе? Кровь, она субстанция мистическая. Пояс верности России это своеобразный. Звучит, конечно, диковато, но ведь так. Действительно так. Сначала посмеются, потом носить станут ради хохмы, после модным станет, а там и проникнутся духом русским, и в церковь ходить начнут, и с либерастами

спариваться перестанут. Кровь – субстанция мистическая, чем ближе к крови, тем лучше. Понял?

Петр Олегович понял. Рано ему еще с мастодонтами советскими тягаться. Те, кто родился при сталинском ледниковом периоде, возмужал при хрущевской оттепели, уютно устроился в брежневском болоте, а потом умудрился выжить на развалинах великой геополитической катастрофы, мутировали в страшные существа. Он, Петя, промежуточное звено эволюции, развращенное мгмошными мажорами и мечтой о сытой заграничной жизни, а они – да... терминаторы. Так закалялась сталь. Они долго ждали, притворялись мелкими клерками с плешивыми чубами и водянистыми мышинными глазками. Они девку нормальную трахнули ближе к пятидесяти, костюм приличный купили в сорок пять. А сейчас налились соками, оуклились и отрастили острые стальные зубы. Какие, на хрен, принципы и дискурс? Челюсти одни. Страшные челюсти хищных динозавров, и пережуют они его сейчас, если не примет он срочно унижительную позу покорности. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Надо.

– Я все понял, Вячеслав Гаврилович. Учиться мне у вас не переучиться. Спасибо за урок. Заработался, перспективы не вижу. Простите меня, пожалуйста. Я дам дочке денег, обязательно дам.

– Ху-ху-ху-ху-ху...

Тесть смеялся, поджав и свернув трубочкой тонкие губы, на конце его смеха чудился короткий визгливый звук, нечто

вроде – й. Удивительно обидно и даже оскорбительно смеялся тесть.

– Ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуй! – закончил он смеяться на визгливой ноте. – Ой, уморил ты меня. Дашь, значит? Давалка ты наша. Конечно, дашь. Надо будет, и миллион дашь. Планида у тебя такая, давать всем. А не дашь, ты у меня сам эти прокладки носить будешь. Я тебе их в жопу засуну, целую пачку, вместе со стразами. Но ты дашь, я уверен. Я таких давалок давно знаю. Они у меня при первой беседе кололись, а потом сексотами и наседками д-о-о-о-лго работали. И давали, давали, давали... Ху-ху-ху-ху-ху-ху-хуй!

«Так вот что испытывают мажоры-коммерсанты, когда я с ними беседую, – не к месту догадался Петр Олегович. – Ненависть. Я же с ними точно так разговариваю. Один в один, как он со мной. Господи, как же я его ненавижу, как же я всю эту мою удачную и фартовую жизнь ненавижу. Будь оно все проклято».

– А ты чего загрустил? – отсмеявшись, обычным своим засушенным голосом спросил его тесть. – Ты посмейся, зятек, весело же. Смешно.

Петр Олегович опустил страдающие глаза в пол и выдавил из себя несколько смешков.

– Хе-хе-хе-хе...

Смеялся натужно, а сам думал: «Но есть и хорошие новости, они всегда есть, даже в самой ужасной ситуации. Похоже, нет на свете никакого бога, потому что если бы был он, то

сдохли бы уже все мы в страшных мучениях. Прокляли бы друг друга и сдохли. А мы живы, здоровы, а бога нет...» Парадоксальное доказательство отсутствия господ почему-то очень его рассмешило. Смех перестал застревать в горле и полился наружу полноводной рекой.

– Хе-хе-хе-хе... ха-ха-ха-ха... ой, правда, смешно, Вячеслав Гаврилович, правда... смешно... хо-хо-хо-хо...

Смех еще усилился, из реки превратился в водопад, перепутался, переплелся и обернулся натуральной истерикой.

– Ха-ха-хе-хо-ху-хи-хи-ха-ху-ху-хуй! Хуй! Хуй!! Хуй!!!

Он смеялся, периодически выкрикивая основополагающее русское слово. Хватался за бока, бил себя ладонями по голове, стонал жалобно сквозь льющиеся из глаз истерические слезы.

– Хуй... хуй... хуй...

Тесть осуждающе смотрел на него, мелко жмакал тонкими губами и всем своим видом выражал брезгливость. Наконец, когда истерика была уже на излете, он сухими ледяными словами отрезвил разбушевавшегося родственничка:

– Ты мне тут из себя буйно помешенного не изображай. На допросах в тюрьме придуриваться будешь со своим банкиром, и то не поможет. Крысятничать вздумал, падла? Под сумасшедшего косишь? Ну, ничего, я тебя быстро в чувство приведу.

– Хууууууууууу, – пикирующим «Мессершмиттом» завыл Петр Олегович и вдруг подавился воем, как будто столкнул-

ся с землей.

«Он все знает, — подумал. — Он все, все знает. Это катастрофа. Я погиб. Боже мой, в кабинете говорит, а здесь пишется все. Значит, решил уже, а может, и согласовал. Сликает он меня». Петр Олегович с мольбой посмотрел на тестя, потом на потолок и приложил палец к губам.

— Что ссышь? — язвительно усмехнулся тесть. — Стыдно или страшно? Да какой стыдно, о чем это я? Не было у тебя никогда совести. Жадность была, злость была, а совести не было. Ты мне пантомиму тут не изображай, ты мне по существу скажи. Есть по существу что сказать?

— Ес... ес... ес...

— По-русски говори, болван, или ты еще и родину вашингтонскому обкому продал?

— Но... но... но... я по-по-русски. Я... я...я... за... за... и... и... ка-ка-ка-юсь.

— Сам ты кака, самая настоящая кака. Как деньги красть, так орел важный, а как отвечать... Кака ты и есть. Понос гнойный. Возьми себя в руки. Ну, застрелишься, в крайнем случае. Плакать никто не будет.

Страх совсем раздавил Петра Олеговича. Мальчиком он стал маленьким. Обиженным, испуганным набедокурившим малышом. Хотелось бухнуться в ноги взрослому дяденьке, зарыдать и попросить прощения. «Я больше так не буду», — хотелось сказать и уткнуться носом дяденьке в колени. И вместе с тем в голове крутились обидные мысли: «А сам-то,

сам ворует похлеще меня, миллиардами ворует. А меня ругает». Он пугался крамольных мыслей и тут же уговаривал себя: «Ему можно, он взрослый. Взрослым всегда можно то, что детям нельзя. Они пьют, курят, матом ругаются, а детей бранят за все то же самое. Им можно. Они взрослые...» Внезапно он вспомнил свой утренний сон, мужика в красных кедах и дыру, засасывающую его в пустоту на месте герба России в президентском кабинете. Как ни странно, воспоминание придало сил. По сравнению с ужасной дырой даже тесть казался не страшным. «Все кончено, – подумал Петр Олегович отчаянно, – все равно все кончено. Мне нечего терять. Ни позади, в этой жизни, ни впереди – в той. Нет нигде ничего, одна пустота вокруг. Так хоть помру как человек. Жил на брюхе, а помру стоя».

Он перестал заикаться, посмотрел тяжело на тестя и почти спокойно сказал.

– Ошарашили вы меня своими подозрениями, Вячеслав Гаврилович. Прямо не знаю, что сказать. Пожалуй, напомним вам, что именно вы повелели мне создать специальный резервный офшорный фонд. И не один фонд, Вячеслав Гаврилович, и не два. Я за каждую копейку могу отчитаться. За каждый рубль, что через Магаданпромбанк прошел. Там сущие копейки, поверьте мне. По сравнению с тем, что я на ваши офшоры отправил, ерунда просто. Я понимаю, я человек маленький, нельзя мне миллиарды доверять. Не дорос. А вам можно. Только вот оскорблять меня не надо. Обидеться

могу.

Пришла очередь тестя раздраженно посматривать в потолок. Пальцы к губам он, конечно, не прикладывал, но нервничал изрядно. Его очки в тонкой золотой оправе запотели, нижняя тонкая губа стала толстой, отвисла и вывернулась к подбородку. Мышцы лица на несколько секунд расслабились, и тесть тоже стал похож на обиженного малыша. Но очень злого и вредного, вроде Гитлера. Таких детей лучше не задевать. Запомнит, запишет, отомстит при первой же возможности. Спустя короткое время его лицо снова вернулось к застывшей маске сушеной воблы. Слегка потемнело только. Так что вобла получилась не холодного, а очень горячего копчения. Пылая жаром, он зашипел, как рыбка на углях в коптильне.

— Сучок чокнутый, ты меня шантажировать вздумал, тварь? А я не боюсь, у меня от Родины секретов нет. Родина слышит, Родина знает... все слышит и все знает. У нас очень внимательная Родина. Ты слышишь, ты знаешь, ты понимаешь это? Мне САМ, САМ сказал на свое имя резервные фонды за границей открыть. Мне завтра САМ скажет последнюю рубашку для Родины отдать, я отдам. Я на службе, я присягу давал, а ты, сучок гнойный...

— А я такой же, как и вы, Вячеслав Гаврилович, мне тоже Родина в вашем лице сказала, и я тоже все отдать готов, и я тоже на службе. Вот скажите, и я завтра все переведу, куда скажете. Чего мы с вами друг другу нервы треплем, одним

ведь делом занимаемся. Может, хватит?

Он поглядел на тестя примирительно. Выступил уже, показал небольшие коготки, и хватит, не в той он весовой категории, чтобы с ним воевать. Может, даже деньги придется отдать, не все конечно, но что-то. «А интересно, – подумал Петр Олегович, – как ему САМ сказал о фондах?» Перед внутренним взором предстала фантазмагорическая картина: парадный Георгиевский зал Кремля. Полтора десятка строго одетых, солидных мужчин по очереди подходят к президенту. Он жмет им руки и вешает... нет, не ордена. И не вешает, а прилепляет веселенькие желтые, розовые и красные стикеры. На стикерах карандашом написаны цифры. У кого-то десятки миллионов, у кого-то сотни, а у кого-то на темно-красных бумажках и миллиарды. Счастливые награжденные жмут руку президенту, коротко благодарят его и уступают место следующему. Наконец доходит очередь до тестя. Он скромно и сосредоточенно подходит к САМОМУ и вытягивает руки по швам.

«Вот тебе, Вячеслав Гаврилович, лимит в два миллиарда долларов, – говорит президент, прилепляя ему на лоб красную бумажку, – за заслуги, так сказать, перед отечеством первой степени, добро пожаловать в государственный бюджет. Вручай, старый и преданный друг, на здоровье в пределах выделенной квоты. Заслужил. За долгие десятилетия беззаветной службы Родине заслужил. Поздравляю».

«Уважаемый верховный главнокомандующий, – подраги-

вающим от волнения голосом отвечает тесть. — Дамы и господа, товарищи. Я постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. Я буду и впредь беззастенчиво, ой, простите, беззаветно служить Родине. И воровать буду только ей на пользу, а врагам назло. И если скажет мне Родина все вернуть, я тут же верну. Еще и с процентами. Вы не сомневайтесь, уважаемый верховный главнокомандующий. Мне для Родины и последней рубашки не жалко».

На этих словах тесть проворно развязывает галстук, скидывает пиджак, потом снимает рубашку. На последнюю она не похожа. Но это же символ. Вон под ногами президента уже куча рубашек валяются от предыдущих награжденных, и пиджаков, и брюк, и даже трусов. Голый тесть идет обратно в зал и присоединяется к другим голышам, у которых на лбу гордо реют стикеры с цифрами. Напротив них стоит одетый президент и грустно смотрит на обнаженный истеблишмент страны. Очень мудрый обычай. Нельзя истеблишменту одежду оставлять, всю державу втихаря по карманам растащат. Один президент должен быть в парадном костюме. И весь в белом. Это вертикалью власти называется. Наша русская старинная и звенящая вертикаль. На ней Россия уже тысячу лет и болтается...

Петр Олегович помотал головой, отгоняя промелькнувший бред. «Не может быть, — подумал, — ерунда, не может быть такого. Все проще намного и прозаичнее». Перед глазами сразу возникла следующая, больше похожая на правду

картина. Тесть долгие месяцы напряженно думает, выгадывает, выстраивает, плетет многоступенчатую интригу, а потом подваливает в тщательно выверенную хорошую минуту к САМОМУ. Говорит интимно и жалостливо:

– Товарищ верховный главнокомандующий, поймите меня по-товарищески. Обращаются ко мне друзья старые, ветераны, инвалиды, спортсмены, деятели культуры и даже деятели культуры – инвалиды, а я им помочь ничем не могу, зарегистрировано все, формализовано. Можно я создам небольшой благотворительный фондик? Не для себя, для них.

– Конечно можно, – отвечает главнокомандующий.

– Вы только не волнуйтесь, товарищ САМ. Ни одна копейка не пропадет, – вворачивает тесть козырную оговорочку. – Я все на себя оформлю, чтобы ни одна копейка...

Машет царственной рукой президент и продолжает наслаждаться обществом старого, верного, а главное, бескорыстного друга.

«Вот так, скорее всего, и было, – решил Петр Олегович. – Все так делают. И я, и тесть, и остальные».

Родственники понимают друг про друга все. И те, кто их слушает в здании около Детского мира, про них все понимают. И они понимают, что их понимают. И САМОМУ жаловаться не пойдут, себе дороже, а подошют разговор аккуратно в папочку и станут ждать удобного случая, и может, не дождутся никогда, а может, разменяют на что-нибудь в

будущем. А если спросят их, почему не доложили вовремя, скажут – собирали материалы, без доказательств нельзя, мы же на страже законности стоим все-таки.

«Интересно, САМ про нас тоже все понимает?» – подумали тесть с зятем синхронно и испугались. Додумывать неприятную мысль не хотелось, а захотелось срочно помириться и сгладить ситуацию.

– Ладно, – сказал Вячеслав Гаврилович, – считай, что разобрались. Быстро ты ломаться начал, Петя, заикался, мямлил, сопли жевал. Я тебя на понт брал, а ты и поплыл. Стареешь. Сколько, кстати, у тебя там через этот Магадан-промбанк прошло?

– Около ста миллионов, – скрепя сердце уполовинил сумму Петр Олегович и добавил на всякий случай: – Не помню точно.

– Ты знаешь что... – как бы размышляя вслух, произнес тесть. – Ты семьдесят отправь завтра по известному адресу. Хватит твоим спортсменам-ветеранам и тридцати.

– Так точно, все сделаю, – стиснув зубы, кивнул Петр Олегович.

«Надо перепрятать остальное, – подумал с болью. – Завтра же перепрячу. И следы в банке замести. Засвечен он. Грохнуть, что ли, этот банк вместе с Андрюшей? У банка лицензию отозвать? А Андрюше наоборот, духовные скрепы на ручки, лет на десять, или за границу отпустить милости-во за огромные отступные. Как раз потери компенсирую. И

взятки гладки. Если чего и найдут потом – банкир виноват. Точно, так и сделаю».

Тесть уже медленно вставал со стула, а у Петра Олеговича так же медленно отлегалась и отлетала от сердца черная грозозатуча, когда над его головой снова раздался засушенный равнодушный голос:

– Слухи ходят, что у тебя ребенок от Пылесоса намечается? Маленький такой пылесосик. Врут, али как? – Не закончив подъем, тесть снова уселся в кресло и сухо посмотрел на зятя.

Руки Петра Олеговича похолодели, сердце застучало, и ему очень захотелось убежать в уютную комнату отдыха, вытащить из штанов вялый член и мять его, тискать, драть, пока не затвердеет, пока не выльется из него вязкая горячая струя и не выйдет вместе с ней ужас из ставшего вдруг дубовым тела. Слова тестя имели все признаки катастрофы, обычно вызывающей стыдное желание. Они были кинжально неожиданными, обещали многочисленные жертвы, к тому же в недалекой перспективе мог пострадать ребенок. «Бабы это ничего, – пытался утешить себя Петр Олегович. – Бабы у всех есть. Он понимает, сам мужик. Баб втихую можно, полтинник дочке его, он понимает, по-тихому можно, но ребенок... Ребенка он не простит. Тут семейный капитал под угрозой. Не простит, уничтожит. Как жалко. И себя, и Пылесоса, и даже ребенка будущего».

Пылесосом красивую и неглупую деваху, начальницу пи-

ар-службы корпорации, окрестил не он. И даже не ее родители. И, видимо, не его предшественник, бывший глава корпорации, от которого девица досталась по наследству. Пылесосом ее окрестила сама жизнь. Жизнь, она умеет давать обидные, но меткие прозвища. Посмотрит на человека несколько лет, приглядится, а потом бац из ниоткуда, и имярек моллю стал или еще хуже – двумя процентами или пылесосом. Да, честолюбивая девушка, приехавшая покорять Москву из провинции, любила деньги. А что ей еще любить, не романы же Тургенева, в самом деле, когда вокруг такая вакханалия творится? Стартовые условия у нее были не хуже, чем у других, даже лучше. К сиськам, писькам, попкам прилагалась соответствующая, а вернее, не соответствующая (редкий случай, и ум и красота в одном флаконе) голова. Девчонка рыскала по столице, как сотни тысяч похожих на нее провинциалок. Словно воробышек, дрожа и суется, прыгала по морозным московским улицам, клубам и офисам в поисках маленькой крошечки хлебушка с крошечной черной икриночкой. Она распорядилась собою с умом. Давала не просто так, за разовые побрякушки и несколько месяцев заточения в сносных, чаще всего съемных элитных покоях, а с выдумкой, с огоньком и всегда с перспективой, иногда даже парадоксально и вроде бы бесплатно давала она. Замуж ей не хотелось. Зачем ей становиться чьей-то законной подстилкой с ее-то внешними данными, а главное, мозгами. Соблазнительная для многих карьера содержанки тоже не прельщала.

Девушка мечтала реализоваться как личность, как независимый и ценимый обществом профессионал. Удалось. Одно из парадоксальных и вроде бы бесплатных «любовных» приключений привело ее в пресс-службу корпорации, а там уж она показала себя со всех своих лучших сторон. Только вот клочка обидная прицепилась – Пылесос. И совсем не из-за того, что она не чуралась грязной работы. Были еще причины... Совсем тяжело стало, когда на улицах города появилась скандальная реклама бытовой техники: «Сосу за копейки». Она даже плакала пару раз украдкой. «Это вы за копейки, – твердила с ненавистью, – а я...» А за что делала это она, так и не могла себе объяснить.

Петр Олегович прогнозируемо запал на Пылесос. Она идеально соответствовала его любимому женскому типу. Холодная, красивая стерва, дающая ненавидимому самцу в силу исторически сложившихся обстоятельств непреодолимой силы. Трахая подобных девиц, непреодолимой силой он чувствовал именно себя. Иногда даже намеренно пукал во время секса, или рыгал, или задницу шумно шкрябал, читал на лице надменных стерв муку и ненависть и кончал от переизбытка собственного величия. Обычно через несколько свиданий упоительное чувство значительно уменьшалось, а потом пропадало вовсе. Приходилось опять отправляться на поиски новой Снежной королевы. «Люди вообще крайне приспособляемые существа, – думал он, прощаясь навсегда с очередной пассией, – поэтому и стоят на вершине эволюции,

а бабы адаптируются значительно лучше мужиков. Сегодня один с ней – хорошо, завтра другой – еще лучше. Во время изнасилования расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот их суть».

С Пылесосом случилось по-другому. На протяжении нескольких лет она его люто по-настоящему не выносила. Приходила куда скажут, делала что повелят, хорошо делала, качественно, высокопрофессионально – и не выносила. Он пытался ее сломать, предлагал статус официальной любовницы со всеми вытекающими предпочтениями. Не велась. Непокоренность в ней чувствовалась, но в меру, только чтобы нервы себе пощекотать, ощутить приятное сопротивление и почувствовать себя в очередной раз лихим Вильгельмом Завоевателем. Более того, у нее имелся парень, и она собиралась за него замуж. Парень был младше ее на пять лет и работал у Петра Олеговича прогрессивным молодым яппи, нечто вроде секретаря комсомольской организации на крупном предприятии по советским меркам. Этот факт вносил особую пикантность во взаимоотношения с Пылесосом. Петр Олегович как бы в ее лице и комсомольца драл, спущенного, кстати, сверху в качестве витрины и человеческого лица российского госкапитализма (в каждой крупной околосударственной кормушке, в соответствии с мерами по улучшению имиджа кормушек, обязательно должен наличествовать такой честный и неподкупный юноша с горящим взором и западным, желательно, образованием). Связь с Пы-

лесосом продлилась неожиданно долго. В последнее время у Петра Олеговича возникло даже нечто вроде нежности к гордой и непокоренной девушке. Произошло это так.

В очередное ничем не примечательное их свидание они занимались обычными своими делами. Он удалым Вильгельмом Завоевателем скакал на придавленной к кровати пастушке, а пастушка, покорно раздвинув стройные ноги, тихо желала ему различных гадостей. Но вдруг он увидел у нее маленькую то ли растяжку, то ли морщинку под левой грудью. И укололо неожиданно, и нежность откуда-то возникла, и любовь почти. «Она же стареет, – умилился он. – Правда стареет. Я помню ее молоденькой упругой девчонкой, а сейчас морщинка или растяжка, а там и до целлюлита недалеко. Она стареет, а я ее трахаю. Получается, она жизнь мне свою отдает, самое ценное, что у нее есть, молодые годочки. Стареет, ублажает меня, работает на меня. Все мне, все для меня». Он поцеловал ее в морщинку под левой грудью. Чуть ли не в первый раз за время их знакомства поцеловал. И произошло с ним что-то. И в ней что-то изменилось. Потеплела она, оттаяла и тоже его поцеловала. Не так, как всегда, жалюще и технично. По-другому...

За нежность надо платить, он и заплатил сразу, не отходя от кассы практически. Петр Олегович лежал с ней рядом, осознавал произошедшую с ним перемену, поглаживал так умилившую его грудь с морщинкой, а она спокойно, прежним равнодушным голосом Пылесоса сказала ему:

– Я беременна.

– От кого? – на автомате отреагировал он, не поняв до конца ужаса случившегося.

– От тебя.

– Ты уверена? Как ты можешь быть уверена? У тебя же комсомолец этот есть.

– Я уверена. Вспомни, ты его сам в командировки да на учебы постоянно отсылаешь, чтобы под ногами не мешался. Не было его тогда. Пять недель срок у меня. Я уверена.

Петру Олеговичу стало по-настоящему страшно. «Тесты не простит, если узнает, – подумал он. – Сгноит сука. А с ней что? Я даже прессануть как следует ее не смогу. Странное со мной что-то происходит».

– Как это может быть? – спросил он растерянно. – Ты же говорила, что детей иметь не можешь, после первого аборта в юности. Врала? Если врала...

– Не врала. Но получилось. Едкое у тебя семя, Петя, как кислота, все барьеры разъело... – В ее голосе снова слышалась ненависть.

– Тогда делай аборт. Подумаешь, забеременела. Делов-то. Ты не бойся, я тебя в Майами отправлю, у меня там врач знакомый. Дочка аборт у него делала. Отдохнешь заодно, а потом и я приеду, когда оклемаешься...

– Не поеду.

– Как хочешь, можно и в Москве, здесь тоже хорошие врачи есть...

– Не буду. Мне нельзя после первого аборта. Я никогда детей иметь не смогу. Это и так чудо, только потому, что у тебя семя едкое. Злое семя. Чудо от злости. Но мне без разницы, от чего. Благодарна я тебе. А аборт делать не буду.

– Выгоню, – раздраженно сказал он.

– Выгоняй.

– С волчьим билетом выгоню. Секретуткой в ЖЭКе работать будешь. Обещаю.

– Выгоняй.

Пылесос была девушкой легкого поведения, но с тяжелым, стержовым и негнушимся характером. Это Петр Олегович выяснил уже давно. Он ей верил, могла она упереться рогом и родить. Еще и нежность не вовремя из него выползла...

– Ну, ты пойми, – пытаюсь разжалобить девушку, сказал он. – Ты пойми, тебе нельзя аборт, а мне нельзя детей. Ты же знаешь мою ситуацию. Тестя и все такое... Никак нельзя мне детей. Сяду, посадит он меня за детей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.